# Добросельцы

Алексей Кулаковский

SHOUT
SHARE
IT

- Кулаковский Алексей

# Кулаковский Алексей Добросельцы

Алексей Николаевич Кулаковский
Добросельцы
Повесть
Перевод с белорусского Владимира Жиженко.
ОТ АВТОРА

С год тому назад мне довелось беседовать с очень скромной и мудрой женщиной - депутатом Верховного Совета БССР, председателем сельского Совета. Она много рассказывала мне о своей сельсоветской работе. Нельзя было без волнения слушать, как она говорила о крутом подъеме сельского хозяйства, начавшемся после сентябрьского* Пленума ЦК КПСС, об активности и небывалой инициативе колхозников - хозяев земли.

_____
* 1956 г.

И в то же время она вспоминала минувшие годы, когда в сельсовете велась упорная борьба с послевоенными трудностями и недостатками в руководстве сельским хозяйством.

Некоторые эпизоды этого рассказа и легли в основу моей повести.

I

Время от времени что-то скребется в оконное стекло. Женщина знает, что это засохшая ветка малины, но всякий раз вздрагивает, готовая подойти к окну. Летом этот куст приносил много радости. Прибежит, бывало, хозяйка с работы, раскроет окно, сорвет спелую, тяжеленькую ягоду. Сосет ее, как конфету, и кажется, что сразу рукой снимает жажду и уже на так чувствуется усталость.

А теперь вот Андреиха (так зовут женщину) то и дело поглядывает на окно, хотя никого и не ждет. На дворе с шумом шастает ветер, наносит все больше снега. За ночь, чего доброго, занесет весь палисадник. В хате горит электрическая лампочка на эмтээсовском лимите. Заплати в МТС пять рублей в месяц и жги сколько хочешь. Андреихин сосед, старый Митрофан, говорят, и спал со светом, когда повесил в хате лампочку и внес первую плату. А второй сосед, Лявон Мокрут, опутал проводкой даже хлев и не платит за свет вовсе.

Почудилось, будто в сенях хлопнула дверь. А, чего только не услышишь при этаком ветре.

Управившись мало-мальски с посудой и намыв картошки на

утро, Андреиха все же вышла в сени. Двухнедельный бычок завозился в выгородке, повернул к хозяйке голову, и в темноте забелела его большая, во весь лоб, лысина. Бычок еще слабенький, а тут теплее и не так дует, как в хлеву. Андреиха проверила, плотно ли закрыта дверь, опустила на крюк завалу и, погладив бычка по лысине, вернулась в хату. Немного погодя выключила свет, взобралась на печь, свернулась там, как в детстве, калачиком, но уснула не сразу. Сперва слишком горячей показалась черень, а потом, как это часто бывает, одолели разные мысли, и не было с ними никакого сладу. А сухая ветка малины все скреблась и скреблась в намерзшее стекло...

Когда-то Андреиху звали Настулькой. Самый видный на деревне парень, темноволосый Андрей, в шутку, бывало, возьмет да и погонится за нею, непоседой, по улице:

- Не убегай, Настулька, все равно догоню!

А она вздымала густую пыль босыми тонкими ногами, хохотала и визжала на всю деревню - звала кого ни есть на выручку. Но никто не спешил ее спасать, а когда Андрей, поймав девчонку за руки, отрывал ее от земли и принимался кружить, находились такие, что подзадоривали:

- За ноги ее покружи, за ноги!

Так всю жизнь Андрей и звал свою жену Настулькой. Уходя в армию, взял за плечи, и ей вдруг подумалось, что он и теперь скажет: "Давай, слышь, я тебя покружу".

Но Андрей прижал жену к груди, положил колючий подбородок ей на голову и тихо сказал:

- Не горюй, моя Настулька, жди нас.

И она ждала. Ждала не только Андрея, а еще и двоих сыновей, ушедших на фронт раньше отца: старший по призыву, а младший добровольцем. Ждала, да никого не дождалась. Научилась только за это время не спать ночами, скрывать от людей слезы, чтобы не набиваться на сочувствие. Теперь разве что во сне слышит голоса то одного, то другого сына, и только во сне Андрей ласково зовет ее Настулькой. Одна живет Андреиха уже второй десяток лет.

II

Радио в хате молчало весь вечер - должно быть, ветром повредило проводку. А потом что-то прорвалось в репродукторе, он похрипел-похрипел и выжал наконец далекие, как из подземелья, звуки. Андреиха спала чутко сразу проснулась. Услышала, что играют Гимн, и вспомнила: ей ведь, прежде чем пойти на работу, надо успеть и то, и другое, и третье по дому, разгрести снег во дворе, задать корове, напоить бычка и не забыть еще пропасть всяких иных мелочей. Сползла с печи, включила

свет, оделась потеплее и стала колоть в щепу сухое полешко, чтобы растопить печь. Дело шло туго, топор валился из рук, все тело ныло, и неприятная одурь подкатывала к голове. Распрямляясь, глянула на будильник, стоявший на окне. Глянула и в первый миг не поверила глазам: будильник показывал всего четверть первого. Проверила, не забыла ли завести. Нет, будильник заведен, значит, она спала каких-то несколько минут. Стало смешно, что дала такую промашку, но и радостно: во-он еще сколько можно поспать!

На этот раз полезла на печь уже не раздеваясь и уснула так, что едва не проспала все на свете. Наскоро управившись с делами, вышла на улицу. Ветер к утру поутих, но снег все сыпал, хотя и не такой густой и, казалось, совсем мягкий. Посередине улицы к фермам пролег уже глубокий след. "Это Митрофанова Даша", - подумала Андреиха с легкой досадой, что соседка побежала на работу раньше ее. "И не зашла, не постучала в окно".

Стараясь ступать в Дашины следы, мысленно видела, как молодая соседка уже выгребает снег из силосной ямы. Яма глубокая - силос наполовину выбран, - и снегу там сейчас по пояс. А сколько его на початых буртах картошки? Это уже последние бурты. Еще недели две, от силы месяц, а там хоть ты на ферму и не показывайся.

В прошлом году так и было. Объявился под весну в Добросельцах новый председатель колхоза, до этого заведовавший бондарной артелью. Сунулся с портфелем на ферму, а голодные свиньи как ринутся на него со всех сторон. Становятся дыбом, визжат, крушат загородки. Мужик сперва отбивался как мог портфелем, а потом - наутек. И не заметил, спасаясь, как свиньи изжевали понизу его бобриковое пальто и вырвали из рук портфель. Ладно, что, кроме плоской буханки хлеба да запасных кальсон, ничего в том портфеле не было.

После того случая председатель долго не заглядывал на ферму. Лявон Мокрут по пьяному делу окрестил было его "свинячим огрызком", но что-то не пристала к человеку эта кличка. Подержалась малость да и отпала. Это, видимо, из-за того, что новый председатель, по фамилии Шулов, никак не походил на какой-то там огрызок. Роста был высокого, широк в плечах и в поясе, два красных подбородка распирали воротник. Он, впрочем, и сейчас председательствует. Носит все то же бобриковое пальто, заново подрубленное снизу. Оно, само собой, стало короче да и застегивается с трудом, потому что очень уж раздался Шулов на колхозных хлебах. Кто ни встретит его теперь, невольно подумает: "Что станется с этим человеком еще через год?"

Пока нагребли из бурта картошки, пока Митрофан растопил паровой котел на кормокухне, начало светать. Андреиха торопилась: через какой-нибудь час к ним может наведаться председатель. Сперва он, конечно, зайдет на молочную ферму, напьется там молока, а то и позавтракает. Живет человек один, семью держит в городском поселке, потому приходится принимать пищу где попало: то на ферме, то у бригадира, а иной раз и у какой-нибудь молодицы. Чтобы застраховать себя от нежелательных перебоев в питании, Шулов всегда носит в кармане ломоть хлеба и, случается, жует его на ходу.

Вскоре зазвонили в пустой бидон. Андреиха знала, что это Даша звонит, подает сигнал Митрофану, своему отцу, чтобы готовился везти на пункт молоко. "Неужто так быстро надоили? - удивилась. - И как же они повезут, если председатель еще не пил?"

Но председатель не проморгал, поспел на сыродой, на парное, значит, молочко, хотя Даша, заведующая фермой, не очень-то и ждала его. Скоро он заявился на кормокухню и, облизываясь, стал раздаривать доброжелательные улыбки сначала Андреихе, а потом и другим женщинам. По натуре покладистый и спокойный, он вообще никогда никого не ругал, даже если это и следовало бы сделать, никогда ни на кого не повысил голоса. Отчасти это шло от крепких нервов, а отчасти от того, что невозможно было вообразить себе событие, которое бы его особо удивило или сильно задело. Поэтому и держался в колхозе и чувствовал себя как нельзя лучше, а некоторые его даже уважали.

Когда Андреиха понесла свиной харч на ферму, вслед за нею увязался и председатель. С другими свинарками он не был так вежлив, как с Андреихой, а с нею любил и поговорить, и посоветоваться, если дело шло о его личном интересе. Ступив на дощатый настил свинарника, председатель тут же и остановился у отдельно выгороженного уютного катушка.

- Ну как он? Ничего?

- Да ничего, - ответила Андреиха.

- Ест хорошо? - Шулов налег животом на дверцу и, отставив зад, пытался погладить тупорылого пестрого боровка. - Так вы уж ему, пожалуйста... Понимаете?.. Скоро его у вас заберу:

- Да понимаю. - Андреиха поставила большое ведро на пол, а с другим, поменьше, вошла в катушок. Боровок принялся жадно глотать тесто, а Шулов стоял над ним и удовлетворенно облизывался. Когда теста в корыте оставалось уже на донце, председатель пошарил в карманах, набрал горстку соли, перемешанной с хлебными крошками, и, войдя в катушок,

старательно посыпал тесто. Боровок стал есть еще усерднее, а председатель щупал пальцами его спину и прикидывал про себя, какой толщины будет сало и на сколько пудов пестрый потянет.

- А много у нас еще картошки? - спросил у Андреихи, когда та уже, может, в десятый раз пришла с ведрами.

- Два бурта, - ответила на ходу Андреиха.

- Два? - Шулов выбрался из катушка и на миг не то задумался, не то удивился: "Маловато. На сколько же этого хватит?"

- Послушайте! - крикнул он вдогонку Андреихе. - На сколько же этого хватит?

- На месяц, - не оборачиваясь бросила та. - А может, и того меньше.

"Маловато, - снова подумал председатель, - совсем мало. Если так, то к весне могут передохнуть все свиньи, хоть их тут и не бог весть сколько. Что же делать?" Он хотел было спросить у Андреихи, что же делать, но сообразил, что получится неудобно, надо все-таки думать самому. Силился, ломал голову, но на лице не отражалось ни озабоченности, ни тревоги. Не держались у Шулова в голове обременительные мысли. Думалось о другом: о том, что дома, у жены, картошки вдосталь, три машины отгрузил туда, частью с собственных соток, а частью и с несобственных.

Андреиха уже, видно, в последний раз бежала на кормокухню, когда ей повстречался Митрофан. Шапка у него наехала ухом на лоб, на обеих скулах по сторонам сухого носа и над усами выступил пот.

- Кадрилихи тут не видела? - встревоженным шепотом спросил он:

- А что ей тут делать? - ответила вместо Андреихи одна молодая свинарка, расслышавшая Митрофанов вопрос. - Она вон повезла продавать пшеницу, что накрала в жатву с комбайна. Председатель и подводу дал.

- Тих-хо ты! - приложил Митрофан руку к губам, оглядываясь на дверь свинарника, откуда, он знал, мог выйти председатель. - Я не про ту Кадрилиху, а про кобылу, чтоб ее волки зарезали. Запропала куда-то, бегаю-бегаю, а найти не могу. Молоко надо везти.

- На ней же силос возили, - подсказала Андреиха, чтобы хоть как-то помочь старику.

- Возили, - подтвердил Митрофан. - А потом выпрягли, да привязать, видно, не догадались. Всё обыскал.

И Митрофан потрусил дальше мелким старческим шажком, под его бахилами сочно заскрипел снег. Шулов между тем накормил своего боровка, вышел из свинарника и подался в ту

сторону, где были силосные ямы. На лице его блуждала довольная улыбка. Спустя каких-нибудь полчаса Андреиха услышала, как он с беспечным смешком сказал Даше:

- Твой батька кобылу ищет, а она в яме силос жрет.

Сказал и направился в деревню, на аппетитный запах утренних дымков.

III

Митрофанова кобыла, за необычайную хитрость прозванная на деревне Кадрилихой, просидела в силосной яме целый день. Даша попыталась было организовать доярок, чтобы вытащить клячу оттуда, но ее зачем-то вызвали в сельсовет, а больше никому до кобылы не было дела. Все знали, что осенью, когда закладывали силос, она, исполняя невеселую службу топтуна, проводила в яме по нескольку суток подряд. Иной раз ей подавали туда ведро воды, а бывало, что и не подавали.

Митрофану дали другую кобылу отвезти молоко, конечно, самую старую и почти полностью слепую. Ехал Митрофан на этом одре по улице и, несмотря на свой преклонный возраст, на давнюю привычку сносить любые обиды и унижения, чувствовал себя далеко не лучшим образом. Кобыла едва переставляла ноги. Летом ее часто запрягали в молотилку или в силосорезку, и, поскольку один глаз еще кое-как светил ей, она часами ходила по кругу, в полной, должно быть, уверенности, что идет прямо. Сейчас ее тоже тянуло на круг, и Митрофану все время надо было одну вожжу держать внатяг, а второй подшевеливать.

Ехал старик, и горестные мысли теснились у него в голове. Был и он, известное дело, когда-то молодым, да к тому же - единственным сыном у отца. В какие-нибудь восемнадцать лет у него уже были собственные сапоги, и даже шагреневой кожи. Это в то время, когда многие сельчане не нашивали кожаной обувки и во все двадцать. Девчата заглядывались на него, ибо не было на деревне второго такого жениха. Бывало, на зимние вечеринки хлопцы вырядятся во все самое лучшее, а Митрофан приходил на вечеринку в лаптях, садился где-нибудь на виду и выставлял напоказ ноги. Не из скромности, конечно, а чтобы подчеркнуть свое превосходство. "Вы тут лезете из кожи, стараетесь быть заметными, а меня и так узнают, потому как всем известно, что у меня есть и сапоги, и галифе на подтяжках".

Иной раз Митрофан и польку отплясывал в лаптях.

На империалистическую войну его не взяли как единственного сына у родителей, а на гражданскую пошел сам, хотя жил уже, отделившись от отца. Вернулся с войны с двумя ранениями в ноги, застал дома уже подраставшего сынка Михаську. Малыш гладил красную звезду на отцовской буденовке

и радостно смеялся. Похоже, он сперва отдал должное звезде, а уж потом стал привыкать и к отцу.

Начал Митрофан обживаться на трех десятинах, которые выделил ему отец. (Вторую половину надела оставил себе.) Вскоре демобилизованного фронтовика выбрали председателем сельсовета. Дали ему печать и папку с пожелклыми бумагами. Что там были за бумаги, Митрофан не очень-то и разбирался, потому читал еле-еле, а писал и того хуже - с трудом свою фамилию выводил. Хотя председательская работа была тогда не из сложных, однако мороки с нею хватало, и времени на нее уходило изрядно. Раз по десять на дню надо было прихлопнуть на каком-нибудь документе печать, что Митрофан проделывал охотно и без особого разбора: лепил печати на протоколах, на разных прошениях, на метрических выписках, которые в то время выдавал еще поп. Тоже раз по десять на дню надо было выслушивать разные приказы, требовавшие отрядить туда-то и туда-то столько-то подвод. Эта работа была Митрофану в тягость: почитай, никто в Добросельцах не хотел исполнять гужевую повинность, хотя и ехать-то было всего ничего. Кляли Митрофана, молили у бога смерти ему и его детям. Кляли, а снимать с председателей не хотели, потому что никому не улыбалось занять его место и выслушивать те же проклятия.

В то время Митрофан строился. И вот только, бывало, залезет на крышу, распустит сноп соломы, а на дворе уже какой-нибудь представитель с предписанием: выделить подводу.

Не сменяли Митрофана несколько лет, а когда все же сменили, то поставили уполномоченным над всеми лесами местного значения. Опять кляли его люди за то, что не давал нарубить лозы на крышу или жердей на забор. Лозы и жердей в лесу от этого едва ли прибавилось, а сам уполномоченный за все время своей новой службы ни разу не съездил в лес и сидел даже без дров.

С началом коллективизации Митрофан первым в своей деревне поднял руку за колхоз. Сегодня проголосовал, а назавтра пошла дымом его хата, которую с грехом пополам осилил за несколько лет. Все лето и осень Митрофан жил в хлеву и только с холодами перебрался в какое-то подобие жилья, слепленное из недогоревших бревен и собранного на лесных делянках вершняка. И все же колхоз в деревне организовался, и Митрофан стал в нем первым председателем. К этому времени он умел уже толково провести сход, выступить с речью, самостоятельно разобраться в директивах, поступающих сверху.

Под осень тридцать шестого года Митрофана с председателей сняли: кто-то написал, будто он был в свое время церковным

старостой. Пока бедолага доказывал, что никогда не был никаким старостой, он весь поседел. Выплакала глаза и сгорбилась за это время его жена; маленькая Даша не знала, что и делать, когда видела слезы матери.

Эти воспоминания настолько овладели стариком, что он на какое-то время перестал придерживать вожжой кобылу и едва не очутился в крайнем дворе соседней деревни Червонные Маки. Вольно думается в дороге, тем более когда никуда особо не надо спешить и одна тебе слава, приедешь ты на полчаса раньше или на полчаса позже. Проезжая улицей, Митрофан крепче держит вожжу, громче покрикивает на кобылу. Вот уже скоро сельсовет, а там и молокоприемный пункт рукой подать. Поравнявшись со зданием сельсовета, Митрофан вспомнил: это ж его Даша пошла сюда. Сидит скорее всего в кабинете у председателя и учит этого самого Мокрута, как и что делать. Она это может, она частенько и его, батьку, учит...

Обидно малость Митрофану, что дочь теперь не очень-то его слушает и еще реже соглашается с ним, когда разговор заходит о всяких там острых углах в жизни. В то же время и радостно отцу за детей. Дочка - заведующая фермой, депутат сельсовета, Михась - агроном, работает в городе, в министерстве, Тимох, еще совсем недавно Тимошка, учится в десятом классе. Дети будут жить счастливо.

IV

Лявон Мокрут сидел в старинном дубовом кресле с высокой спинкой, что придавало ему некоторое сходство с судьей. Лет двадцать тому назад это кресло было принесено в сельсовет из поповского дома, пережило войну, несколько председателей на нем сменилось, и вот теперь оно служит Мокруту. Напротив председателя, у стола, опираясь грудью на посошок, стояла ссохшаяся, ветхая бабулька.

- Так все ясно? - похоже, заканчивая разговор, спросил у бабульки Мокрут и постучал пальцем по столешнице. - Если через два дня не внесешь... - Остальное за председателя договорил палец.

Даша сидела на табуретке обочь стола и с грустью поглядывала на председательский палец. Она знала, что означает это постукивание, какие слова заменяет. Должно быть, догадывалась об этом и бабулька: она заплакала и еще ниже сгорбилась над посошком.

- Из каких шишей я внесу? - сквозь слезы пожаловалась бабулька.

- Знать ничего не знаю, - сказал на это Мокрут.

- И было бы за что платить этот налог, - продолжала старая,

оборачиваясь к незнакомой ей девушке, - а то ведь за какую-то дупластую дичку.

- Ничего не знаю, - повторил председатель.

- Как это не знаешь? - с возмущением спросила Даша и, поспешно встав, подхватила бабульку под локти, как будто та вот-вот готова была упасть. Садитесь вот сюда. - Она придвинула к старухе другую табуретку. - Садитесь и расскажите все толком, а мы послушаем.

Она укоризненно посмотрела на председателя, а тот поднял было руку, чтобы снова постучать пальцем по столу, но вдруг передумал. Встал, одернул на себе защитный кителек и вяло, как бы только с тем, чтобы размять ноги, отошел к дальнему окну. Там достал из кармана папиросу, дунул в мундштук так, что бабулька непроизвольно вздрогнула, и, закурив, посматривал на Дашу, как на несмышленыша, который лезет не в свое дело.

- Откуда же вы, бабушка? - спросила Даша, подсаживаясь к старухе. Что-то я вас не знаю.

- Да с поселка я, дочушка, с Желтой горы.

- И что, у вас там большой сад?

- Да какой же он большой? - повернувшись всем своим сгорбленным телом к председателю, с горечью проговорила бабулька. - Пришли бы да посмотрели. Три груши стоят. Старые, усохшие наполовину. Еще отец моего мужика покойного, когда молодым был, посадил, принес самосейку из лесу. Не родят уже сколько лет.

- Придем, бабушка, посмотрим. Я сама приду.

- Спасибочки вам, дочушка. - Старуха опять посмотрела на председателя и, заметив, как тот, пыхая дымом, посмеивается, спрятала в свалявшийся платок свой изборожденный морщинами подбородок и закашлялась.

- Можешь, бабка, идти! - не дожидаясь, пока та откашляется, сказал Мокрут. Вид у него был такой, словно он делал старухе невесть какое одолжение. - А денежки все-таки готовь. Вот так!

- Придем и разберемся, - повторила Даша и коснулась холодной бабулиной руки.

Та перенесла тяжесть на посошок и хотела было встать, но, видимо, что-то вспомнила и опять сложила руки на коленях. Шаткая табуретка под нею скрипнула.

- А вы, дочушка, кто будете? - спросила у Даши. - Секлетарша или по налогам какая начальница?

- Я депутат сельсовета, - ответила девушка.

Бабулька потрясла головой, как бы в знак того, что ей все понятно, она удовлетворена, однако вышла из комнаты, мрачно поджав сухие губы.

- Как ее фамилия? - обернулась Даша к председателю, когда дверь за бабулькой закрылась.

- А я откуда знаю? - усмехнулся Мокрут. - Пойдешь на поселок, там и спросишь.

- А ты ни разу не был в этой семье?

- Печка был и финагент. А у меня ноги не собачьи.

- Стучишь пальцем, грозишься, - горячо заговорила Даша, - а не знаешь, на кого стучишь, кому грозишься. Разве можно так разговаривать с людьми?

- С тобой я еще крепче поговорю, - ответил на это председатель.

- Ну, попробуй!

- И пробовать нечего! - Мокрут размашисто отмерял несколько шагов и опять очутился у поповского кресла. - Ты сколько денег собрала за эту неделю? Что, я за тебя пойду по хатам?

- Я тоже не пойду! - отрезала Даша. - На это финагент есть.

- А ты для чего поставлена? Для чего? - Мокрут снова одернул на себе кителек и еще ближе подошел к девушке. - Мы тебя для того и поставили, чтобы помогала сельсовету.

- Кто это - мы?

- Я, к примеру.

- Ты меня поставил депутатом?

- А ты думала кто?

- Я думала и думаю, что меня избрали люди. Хватит! - чуть не выкрикнула Даша и, встав, направилась к двери. - Противно слушать, какую ты чушь несешь.

- Да разве я... Погоди! - Мокрут мягко шагнул вслед за Дашей. - Да что я такое сказал? Ежели по чистой совести, так лично я очень уважаю твоего отца. А тебя еще больше. Давай на этом и поладим. Не затем я тебя вызывал, ежели по чистой совести.

- А зачем? - Даша взялась за ручку двери, но не спешила открывать.

- Постой, - стал просить Мокрут. - Ну чего ты взъелась? Приходи сегодня вечером в школу, спектакль тут будем представлять. И меня втянули, вспомнили давний талант: пьяницу одного изображаю.

- Самого себя? - улыбнулась Даша, отпуская ручку.

Мокрут тоже улыбался, но Даша заметила, что веки его задрожали и под колючими серыми глазами занялась краснота. - Будто я один выпиваю? К сожалению, многие теперь этим грешат. Вон желтогорцы, смотри, как бы все зерно не перевели на самогонку.

- У желтогорцев особо не из чего гнать, - возразила Даша, - а в других деревнях гонят, точно.

- Желтогорцы и правда за бульбу теперь взялись, - уточнил председатель. - Но у нас не об этом разговор. Я приглашаю тебя и буду ждать возле школы. А ты обещай, что придешь.

- Не приду! - твердо сказала Даша. - Времени у меня в обрез, да и боюсь идти домой одна.

- Вместе пойдем. Вот какая ты! - Мокрут попытался взять девушку за локоть, но та рывком отвела руку и опять двинулась к двери. - Даша! взмолился председатель. Его круглое, уже с налитым подбородком лицо изобразило всю нежность, на какую он был способен. - Ну, посиди, давай еще поговорим. Почему ты так неласкова ко мне? Ежели по чистой совести, то я...

- Что ты? - с настороженной усмешкой спросила Даша и поставила ногу в белом валеночке на порог.

- Я уже давно по тебе сохну, разве не видишь?

- Не вижу и видеть не хочу! - тряхнула головой Даша. - Есть у тебя по ком сохнуть.

- Эх, ну что ты за человек! - не то выкрикнул, не то простонал в отчаянье Мокрут и, закрыв руками лицо, отошел от девушки. - До чего ты меня доведешь! - Он теребил в пальцах свой боксерский хохолок, возбужденно расхаживал по комнате. Можно было подумать, что человек и впрямь впал в отчаянье, но Даше почему-то не верилось в это. - Да гори оно все гаром! продолжал Мокрут, облокачиваясь на подоконник позади своего стола. - Не для того я тебя звал сегодня и не для того старался, чтобы ты была депутаткой. Не нужна мне здесь твоя помощь. Сам справлюсь! Мне ты нужна для души, для сердца, которое уже стало забывать, что такое ласка, что такое доброе человеческое слово. Думал, станешь депутаткой, так чаще будем встречаться, говорить... А выходит... Ты же знаешь, Даша, что в моих силах заставить тебя быть поласковее. Имеются у меня кое-какие для этого средства. Но я же хочу по-хорошему. Я для тебя даже и не председатель, если угодно. Я все для тебя сделаю! Все! Понимаешь?..

Мокрут оторвался от подоконника, поднял голову, и... от горького изумления у него затрясся кадык: Даши в комнате не было. Она тихонько вышла, видимо, еще тогда, когда он только начал распалять свое красноречие.

Примятый полозьями и машинами снег звучно скрипел под ногами, после прокуренной сельсоветской комнаты дышалось легко и полно. Выйдя на добросельскую дорогу, Даша миновала две бескрылые мельницы, стены которых чуть слышно потрескивали от мороза. За ними был поворот, а дальше все

прямо да прямо. Несильный, хотя и резкий ветерок дул в лицо, но девичьим ли щекам бояться встречного ветра: Даша и не заметила, что у нее сполз на затылок платок. Прямая и узкая полоска пробора, по сторонам которой непослушно легли каштановые волосы, слегка порозовела от холода, так же как и лоб, и открытый круглый подбородок. В ушах назойливо звучал голос Мокрута. "Он, поди, до сих пор стоит у окна, изливает свои обиды..."

Девушке нелегко было разобраться, что за человек этот Мокрут, что у него на душе. Она и раньше, бывало, задумывалась над этим, но мимолетно, как о чем-то пустом и малозначительном. До войны, когда Даша была еще совсем девчонкой, Лявон Мокрут, Лёвка, как его звали, считался не последним парнем на деревне. Куда там! Скажи кто-нибудь, что он не из первых, Левка, пожалуй, полез бы в драку. Был он приятной наружности, по тем временам неплохо образован (окончил восемь классов), умел громче других спеть, лучше других сплясать казачка, выступить на сцене. Любил, чтобы на него обращали внимание, а еще больше - чтоб его боялись. Пускай даже не самого его, а кого-нибудь или чего-нибудь, но ему доставляло удовольствие видеть, что тот или иной человек живет в страхе, в ожидании какого ни есть несчастья. Это повелось за ним с малолетства. Бывало, на святки он не перетаскивал, как иные, ворот с одного двора на другой, не посыпал мякиной чьих-то заветных тропок, а поймает на улице черного кота и спустит его через трубу в хату к какой-нибудь бабке. Уже и Даша помнит, как однажды в осеннюю ночь Мокрут поставил на погосте пустую тыкву со свечкой внутри. В тыкве были порезаны дырки для глаз, страшно щерились зубы. Не только дети, но и кое-кто из взрослых боялись после того пройти мимо погоста.

С тех пор утекло много воды, и теперь Даше порой даже не верилось, что было время, когда Мокрут мог кого-то напугать. У него были маленькие и, похоже, мягкие, как у младенца, руки. Округлый чистый подбородок с нежной припухлостью, казалось, всегда выражал добродушие, даже когда Мокрут злился. Глаза тоже не всегда были колючими. Иногда они излучали ласку, даже умиление - это бывало, когда он в задумчивости смотрел на нее, на Дашу. Она замечала это не единожды, и тогда приходила мысль, что люди зря опасаются Мокрута, зря думают, что от него можно ждать чего-нибудь скверного. Стоит вот ей, Даше, взять его за эту детскую руку - и пойдет Левка покорно, куда его ни поведи. Ни слова поперек не скажет, ни голоса не повысит.

Подходя к Добросельцам, Даша невольно замедлила шаг. Очень уж славно и красиво было вокруг. Над деревней вдруг

пробилось, вырвалось из розоватой дымки солнце, и его спокойные, почти неощутимые лучи заискрились в свежей изморози на деревьях, в стеблях придорожного чернобыльника, запорошенного белым пухом. Вчера Даша проходила здесь, и чернобыльник стоял голый, насквозь просвистанный ветром. На него не жаль было наступить ногой, наехать колесом. А сегодня кустики выглядят так нарядно, что хоть ты наклонись над иным и дохни на него, как на одуванчик. На дороге, между колеями, - слой такого же мягкого снега, легонько поскрипывающего под ногой. Это поскрипывание бодрило, как маршевая музыка. Идти бы так да идти. Пусть бы эти Добросельцы были чуть подальше, пусть бы не так скоро приближались, хотя там и родная Дашина хата, и милые сердцу зимой и летом деревья вдоль улицы. Идти по свежему снежку, дышать легкой прохладой и... кого-нибудь встретить. Не Мокрута, конечно, и не Шулова. Хотелось встретить кого-нибудь близкого, дорогого. Невольно подумалось о Володе, который вот уже четыре года служит в армии - кончает летную школу. Когда же он приедет, когда они наконец встретятся?..

Глядя прямо на солнце (если вообще можно смотреть прямо на солнце), Даша заметила на фоне белого инея на тополях черные шапки вороньих гнезд. Интересно, что гнезда и под инеем черные. Потом показалась из-за деревьев острая, посеребренная инеем верхушка добросельской мельницы, тоже без крыльев. В одну грозу лишились крыльев все три мельницы в их сельсовете. Вскоре открылась глазу и Мельникова хата, можно сказать, не хата, а настоящий дом. Этим домом по одну сторону улицы и неказистой хибарой конюха Платона - по другую начинались Добросельцы. Напротив дома мельника стоял столб с электрическим фонарем. Пока у мельницы были крылья, которые на ветру довольно бойко крутились, этот фонарь освещал не только дом и подворье, но и часть дороги. У мельника часто собирались представители местной власти: председатель и секретарь сельсовета, участковый милиционер, бухгалтер добросельского колхоза (властью в колхозе считался не председатель, а бухгалтер), завхоз МТС да тот-другой из механиков. Заглядывал также человек по фамилии Заткла. Ни к каким властям Заткла не принадлежал, однако Мельникова компания редко обходилась без него. Но главной фигурой был все же мельник. На добром подпитии он имел обыкновение затянуть нараспев, лохматя свисавшие стручками волосы, запорошенные мукой: "Ты-ы-сяча рубле-е-ей для меня-а-а ниче-его не зна-а-ачат".

Однако вскоре после того, как гроза обломила мельнице крылья, пришел эмтээсовский монтер и обрезал провода на столбе. Теперь столб стоял здесь без всякой надобности, и как-то

раз ночью мельник обзавелся здоровенной шишкой на лбу.

Случалось мельнику напиваться и позже, когда мельница уже не крутилась. Однажды даже затянул было на улице: "Ты-ы-сяча рублей..." Но тут объявилась его супруга, дородная тетка Матрена, сгребла "певца" за шкирку и прилюдно поволокла домой.

В то же время прошел осторожный слушок, что Мокрутова жена не лучше обошлась со своим Лявоном. Была она не так сильна и дородна, как тетка Матрена, ростом и весом тянула разве что на пол-Матрены, зато по злобности и упрямству не многие могли с нею тягаться. Сухонькое личико ее с лисьими глазками бороздили морщины, на которые страшно было смотреть. Даже когда она говорила что-нибудь веселое, морщины эти не разглаживались и словно таили в себе какую-то угрозу.

Боялся своей жены председатель сельсовета, хотя и считалось, что он никого во всей округе не боится. Дома, наедине с женою, Мокрут бывал совсем иным, нежели в сельсовете или на веселых встречах у мельника. Откуда Мокрутиха родом, кто ее близкие, отец с матерью, ни одна душа толком не знала: Мокрут нашел ее, будучи в партизанах.

Войдя в деревню, Даша прибавила шагу. Неловко идти на глазах у людей так, словно прогуливаешься: подумают, что тебе нечего делать. "Приехал уже отец или нет?" Была и другая забота: что делает Тимоша перед тем, как пойти в школу на вторую смену? Подленивается хлопец, часто надо заставлять его, чтобы взялся за книжку. Заиграется, бывает, а потом летит сломя голову, не сделав уроков, а главное - не поевши.

Да, хорошо бы заглянуть домой, однако и на ферме дел невпроворот. Еще, видно, и Кадрилиха сидит в силосной яме. Даша только замедлила шаг у своего двора, плотнее притворила ворота и пошла дальше. Неподалеку от конюшни ей повстречался Платон - в старом полушубке, подпоясанном веревкой. Улыбнулся приветливо, спросил, где отец.

- Скоро приедет, - ответила Даша. - Заходите.

И ей представилось, как эти два старика, два закадычных приятеля, сегодня опять допоздна будут сидеть в закутке за печью и вести свою едва слышную и мало кому понятную беседу.

V

Оставшись в сельсовете один, Лявон Мокрут какое-то время расхаживал по комнате и сосредоточенно прислушивался, как скрипят его сапоги. На ходу клонил туловище то в одну, то в другую сторону, с нажимом ставил ногу на каблук - как получится громче? И вообще: почему это у большого начальства всегда скрипят сапоги или ботинки?

Подойдя к столу, поставил ногу на подлокотник поповского кресла и стал рассматривать со всех сторон свой хромовый сапог. Осмотр огорчил его: союзка в трещинах, рант в одном месте выпирает. Откуда тут взяться скрипу? Посмотрел на брюки и тоже не обрадовался: хоть они и синие, и галифе, но уже блестят, как у дегтевоза. Чуть ли не с партизанских времен служат, как тут не податься?

Подумалось, что, пожалуй, и Даша все это заметила. Конечно, заметила и скорее всего посмеялась. Сама-то вон как разодета: новые валеночки, ватник по фигуре, платок теплый, клетчатый. Андреиха и та во всем новеньком ходит. Ну, не в таком, положим, как его, Мокрута, жена, однако все на ней чистое и аккуратное.

Мокрут хлопнул ладонью по голенищу, опустил ногу и горестно поморщился. Почудилось ему вдруг, что вовсе он не Мокрут и не Левка, когда-то бывший на виду у всей деревни, и тем более не председатель сельсовета. Не потому ли и Даша так иронично, с насмешкой смотрит на него? Был колхозным бригадиром в Добросельцах и то, можно сказать, пользовался большим уважением. Люди не проходили мимо на улице, как бывает теперь. В любой хате примут и уж, само собой, не выпустят с пустыми руками. На трудодни - подсчитают в конце года центнер озадков получишь, а хватало и хлеба, и сала, и вот сапожки тогда приличные справил.

Снова заходил по комнате. Под ногами как нарочно хоть бы скрипнуло. Шаг получался вялый, какой-то старческий. От этого сделалось совсем не по себе, глухая досада завладела душой.

"Вот Шулов небось в таком виде не покажется на люди. Пальто у него, правда, снизу надточено, зато сапоги новые, даже с каким-то мехом внутри. А рожу наел - засмеяться уже толком не может, щеки не дают. А что человек делает, чем голова занята? Строит себе пятистенку, чтобы потом в район перевезти, да кабанов откармливает. По колхозу у него единственная забота: вовремя послать сводку в район".

Руки Мокрута сцеплены за спиной, пальцы в движении - видно, что он возбужден. Внезапно одна рука опускается, ощупывает фонарь галифе, потом глубоко ныряет в карман. Приходится даже скособочиться, чтобы обшарить просторный и уже не раз зашивавшийся карман. Мокрут извлекает оттуда сельсоветскую печать в деревянном футлярчике и сразу веселеет, полнится радостью.

- Милая ты моя! - торжественно произносит он, держа на ладони слегка замусоленный от вечного пребывания в кармане футлярчик и нежно глядя на него. - Испугался, аж сердце екнуло, - показалось, что потерял тебя, что выпала ты через

какую-нибудь прореху. Нет, не выпала, слава богу! И что бы я делал без тебя? Кормишь ты меня и поишь. Не одеваешь, правда, покамест, но будешь и одевать! Будешь! - Он поднес футлярчик чуть ли не к самому носу, подбросил на ладони, потом крепко сжал в кулаке и снова опустил в карман. Да, будет кормить, - сказал уже с полной уверенностью, - поить и одевать! Она у меня волшебница, она все умеет, и все ей по силам. И никому другому она не попадет в руки, пока сам не отдам.

Усевшись наконец в кресло и откинув голову на срез спинки, словно подставив ее для бритья, Мокрут самодовольно поводил глазами и вдруг крикнул так, что вздрогнули стены:

- Печка!

За дверью никто не отозвался, лишь погодя немного из дальней боковушки пришлепал небольшого роста паренек, хромой и до того худой и бледный, что наводил на мысль о больнице. Звали его здесь "колченогим начальником", хотя официально должность была довольно внушительной: заведующий военно-учетным столом.

- Вы кого-то звали? - спросил паренек.

- Где Печка? - Председатель даже не шевельнулся в кресле.

- Не знаю, - спокойно ответил паренек. - Пошли куда-то с финагентом.

"На промысел", - хотел сказать Мокрут, но удержался: не резон излишне открыто высказываться при этом человеке, который все время молчит и о чем-то думает. Вряд ли что-нибудь хорошее у него на уме.

- Можешь идти! - бросил председатель, не меняя позы. - Увидишь Печку скажи, чтобы зашел ко мне.

Когда полчаса спустя в комнату вошел секретарь сельсовета Василь Печка, Мокрут опять расхаживал взад-вперед и шаг его был уже довольно размашистым и твердым. Матово-розовый подбородок на ходу вздрагивал.

- Где ты был? - грозно вопросил председатель.

Василь Печка, молодой, щуплый, в военной фуражке, смутился, обеими руками прижал к животу папку с бумагами и робко ответил:

- С описью ходили... Описывали...

- Кого?

- Сидора... Ну, того, что в Дубках...

- Я вам наописываю! - выкрикнул Мокрут и заходил еще решительнее. Зови сюда финагента!

Печка пробкой вылетел за дверь.

- Я вам сколько раз говорил! - начал Мокрут, когда он вернулся вместе с финагентом. В голосе председателя было

возмущение. - Никаких описываний без соответствующего постановления! Поняли? Зарубите это себе на носу! Мы должны уважать наших людей и ежечасно думать о них. Если уж и понадобится кого-либо описать, то только в моем личном присутствии. Тихоня был с вами?

- Не было, - буркнул финагент.

Он стоял рядом с секретарем и смотрел на Мокрута с какой-то замороженной полуулыбкой. Его резко очерченное, изборожденное морщинами, особенно вокруг губ, лицо не выражало ни особых переживаний, ни какой-либо работы мысли. Он был уже не молод, но и пожилым его никто не назвал бы. Фигура поджарая, прямая, волосы по-юношески густые, хотя цвета неопределенного: что-то вроде мокрой пакли. Ростом Василь был ему по плечо.

- Ну вот, - продолжал кричать Мокрут, - даже и участковый не присутствовал. Что ж это такое? Самоуправство! Ежели по чистой совести, это издевательство над людьми. Что такое Сидор из Дубков? Я у вас спрашиваю: что такое Сидор?

- Неплательщик, - ответил финагент. С его лица по-прежнему не сходила безразличная и чуть-чуть снисходительная усмешка.

Мокрут остановился подле финагента, заложил руки за спину и стал раскачиваться с пяток на носки.

- А зна-е-ешь ли ты? - вопрошал он, укоризненно качая головой в такт движениям тела. - Знаешь ли ты, что у этого твоего неплательщика в данный момент копейки за душою нет?

Финагент молчал, но ни одна черточка не дрогнула на его лице при этом вопросе. Хитрый служака очень хорошо знал своего начальника и понимал, что ни этот прерывающийся голос, ни раскачивание не шли от нервов, от настоящего возбуждения, а лишь копировали где-то услышанное и где-то увиденное.

- У него есть что взять, - сказал наконец финагент, спокойно глядя председателю в глаза.

- Ага, так значит... - Мокрут перевел взгляд на Василя. - Так значит, вы пошли туда, чтобы поживиться, чтобы вынудить человека... А ну, дохни на меня, Печка!

Секретарь отступил на шаг и прикрыл лицо картонной папкой.

- Дохни! - Мокрут вырвал у него из рук папку и подошел вплотную. Дохни, а то дух выбью!

Василь дохнул коротко и боязливо, будто кто-то и впрямь сунул ему кулаком под бок.

- Нализались уже! Представители власти! Гнать вас отсюда каленой метлой! Не помощники вы мне, а черт знает что!.. А ну, ты дохни! - Мокрут подошел к финагенту. Тот не двинулся с

места, лишь выше поднял голову и широко улыбнулся.

- Свинья! - с нажимом произнес Мокрут, увидев черные щербины и истертые вставные зубы. - Что с тобой говорить?

Он оставил своих помощников и опять, заложив руки за спину, принялся расхаживать по комнате. Финагент стал оправдываться, то и дело втягивая сквозь зубы воздух и тяжело ворочая пересохшим языком. Однако Мокрут уже не слушал его и поглядывал искоса только на Василя.

- Сессия готова? - спросил у него, направляясь к поповскому креслу. Ты можешь идти, - кивнул финагенту.

Василь поспешно развязал папку, пошуршал бумагами и без малейшей обиды, словно и не было только что крутого разговора, ответил:

- Готова, товарищ председатель. У меня все с собою.

- Давай сюда!

Василь обежал стол и сел на ту же скрипучую табуретку, на которой недавно сидела бабуля из Желтой горы, но Мокрут кивнул ему, и он, громыхнув табуреткой, вмиг очутился рядом с начальством.

- Что там у тебя? - мрачно спросил Мокрут, не поднимая головы.

- Вот, - торопливо заговорил Печка, придвигая председателю двойной лист из ученической тетради. - Тут у меня все готово.

- Читай сам! - велел Мокрут, щелчком отбрасывая лист от себя.

Василь обеими руками поймал лист, снял фуражку и швырнул ее на подоконник. Соломенно-желтые, слегка вьющиеся волосы, неумело подстриженные под бокс, выпрямились, отчего голова как бы заострилась кверху.

- Вопрос о взыскании платежей, - начал читать Печка.

- О срочном взыскании, - вставил Мокрут.

- Да-да, - согласился Василь, - о срочном взыскании платежей. Докладчик - председатель сельсовета товарищ Мокрут. Постановили: обязать всех депутатов сельсовета активно включиться...

- Погоди! - снова перебил его Мокрут. - Что мне твои депутаты? Ничего они не сделают. Учителей надо подключить. Понимаешь?

- Правильно! - согласился Василь. - Обязать всех депутатов и учителей активно включиться в работу по взысканию... Да-да, по срочному взысканию платежей на всей территории сельсовета и завершить ее не позднее?.. - Василь поднял глаза на председателя.

- Трех дней, - негромко, но решительно сказал Мокрут.

- Та-ак, - поправил секретарь в своих записях. - Закончить эту работу в трехдневный срок. Голосую. Кто "за", кто "против", кто воздержался? Единогласно. Переходим ко второму вопросу.

- Стой! - уже со злостью выкрикнул председатель. - Какое тебе единогласно? Митрофанова Даша непременно будет против. Учитываешь? А потом этот сивый молодожен, директор школы, что всегда лезет со своими предложениями...

- Чего ж тут лезть? - робко возразил Василь. - Все очень ясно.

- Найдут щелку, - заметил Мокрут. - Пиши так, - приказал, постучав пальцем по листу. - Голосую! Кто против постановления райкома партии и райисполкома? Кто воздержался? Нет таких. Единогласно.

Василь записал все это и стал читать дальше.

Когда чтение было закончено, Мокрут, едва пробежав глазами по тексту, поставил свою подпись и сухо сказал:

- Ты выпишешь повестки депутатам, а в школу я зайду сам. Потом вот что: сделай мне копию всего этого твоего спектакля. Я позвоню в райисполком и согласую.

- Спектакля? И почему это моего? - обиженно спросил Василь.

- А чьего же? - Председатель направился в угол у двери, где висели его кожанка и каракулевая ушанка с кожаным верхом. - Не я же выдумал всю эту писанину.

- Не вы и не я, - миролюбиво проговорил секретарь. - Так всегда делалось. Подготовка документов - дело важное.

- Ладно! - Председатель махнул рукой и потянулся за кожанкой.

Пока Мокрут одевался, Василь молча наблюдал за его резкими, недовольными движениями, слушал, как глухо похлопывает хорошо выделанный хром, и лишь когда начальство уже взялось за ручку двери, секретарь снова громыхнул табуреткой и поинтересовался:

- Вы еще придете, товарищ председатель?

- Приду, - нехотя ответил Мокрут. - Под вечер.

- Тут, это самое... - Василь замялся и стал торопливо завязывать свою папку.

- Что? - Председатель остановился в раскрытой двери.

- Семен Козырек должен скоро прийти.

Мокрут снова закрыл дверь, и по его подбородку пробежала довольная улыбка.

- Записывать придет?

- Ага. Завтра у него родины. Идем мы это мимо его двора, так из трубы синий дымок тянется, а жареной телятиной пахнет на всю улицу.

- Зарезал, стало быть? Молодец Семен! - Председатель

говорил с секретарем уже совсем иным тоном. - Тогда вот что, Василь. У Семена сегодня, ты же знаешь, до черта всяких дел, беготни всякой. А человек он уважаемый, герой войны.

- Какой там герой? - несмело заметил Василь и первый раз за все это время усмехнулся.

- Что значит - какой? Два ордена, медаль. У нас с тобой, брат, и этого нет. Одним словом, так. - Председатель взял с подоконника фуражку и протянул секретарю. - Сходи ты, Вася, к Семену и скажи, что не стоит ему тащиться в сельсовет. Это ж ого - с самого дальнего поселка. Скажи, что сами к нему сегодня придем и запишем, сделаем все, что положено. Внимание надо проявлять, понимаешь? Скажи, что к кому-нибудь другому я ни за что бы не пошел, а к нему, к Семену, приду.

VI

"Колченогий начальник" родом был тоже из Добросельцев, даже и фамилию носил Добросельский, но в эту зиму проживал по большей части в Червонных Маках, ближе к службе. Квартировал у одной бабульки, которая всю жизнь протопала сторожихой при церкви, а после того, как прихожане церковь закрыли, словно всем назло, не работала нигде. Квартирант колол ей дрова, приносил из бывшего поповского колодца ведро воды. Этого ведра хватало бабке почти на двое суток.

В родной деревне у Ивана Добросельского был обжитой угол: хата, сарай, гуменце, дровяник. Все это не новое, но еще могло бы послужить. Не жил там парень скорее потому, что боялся зимнего одиночества. В сельсовет он приходил рано, едва первые стайки учеников торили дорогу в школу. Когда в его клетушке, бывало, сильно натопчут, брал в настывшем коридорчике веник-голик, подметал, насколько это было возможно, пол, протирал газетой стол и садился за работу. Печка приходил добрым часом позже, финагент же с утра вообще не показывался в сельсовете, а являлся лишь тогда, когда ноги уже едва нащупывали ступеньки, а руки - щеколду. Первым делом Иван с Василем выясняли, чья очередь подметать главную сельсоветскую комнату: Мокрут не брал уборщицы, так как положенных на хозяйственные нужды средств едва хватало, чтобы содержать лошадь. Подчиненным порой приходилось поломать голову, как все уладить, чтобы председатель не злился. Любил Мокрут лихо, с ветерком прокатиться, чтобы снег разлетался от конских копыт. Любил, чтобы в его служебном помещении был порядок: пол подметен, стол убран, поповское кресло протерто от пыли. По справедливости чаще всего складывалось так, что надо бы за голик браться финагенту, да где ж ты его дождешься. Поэтому обычно Иван с Василем засучивали рукава и вдвоем до прихода

Мокрута разгоняли пыль и мусор по углам, где они и копились до поры до времени.

Сегодня Иван вышел на работу еще затемно. Бабулька его встает очень рано, начинает шоргать по полу своими допотопными гамашами, подаренными, видно, еще попадьей. Шорганье это уже не даст спать, так как старуха - уж не назло ли? - все норовит пройти поближе к кушетке, которую сдает квартиранту.

В сельсовете Иван отпер свою каморку и по густоте воздуха почуял, что в ней кто-то ночевал. Стал приводить в порядок свое рабочее место, что на этот раз требовалось вовсе не для ритуала: от заснеженных сапог или валенок один конец большого, прежде скорее всего семейного стола был мокрым, посередине черствели крошки хлеба, желтела луковая шелуха, было просыпано немного соли и немного махорки.

"Это Павел Павлович, - подумал Добросельский, - больше некому. В темноте забыл убрать со стола".

Когда пришел Василь Печка, Иван сказал ему, что на территории сельсовета пребывает инструктор райисполкома, однако секретарь отнесся к этому безразлично.

- Где этот человек ночует, - сказал он, усмехнувшись, - там не днюет, а где днюет, там не ночует. При таком инструкторе можно жить спокойно.

Управившись с комнатой Мокрута, они разошлись, чтобы заняться служебными делами. У Добросельского, к его огорчению, никаких служебных дел не было. Такие дни выпадали не столь уж и редко, а Иван по натуре был человеком работящим, не любил сидеть сложа руки, не был также склонен к игре в шашки, в шахматы, в домино, что вошло сейчас в моду в сельсоветах и в колхозных канцеляриях. Почитать бы, да тоже ничего нет под рукой. И Иван уже в который раз поставил перед собою ящик с учетными карточками, стал просматривать их, перечитывать. Ему вообще-то нравилось это занятие. Карточки знакомых людей были интересны тем, как они заполнялись: кто-то прибавил себе год трудового стажа, кто-то женат, а написал, что холост. Что же касается незнакомых, то это было еще интереснее. Любил Иван читать и перечитывать биографии; он и в книгах сперва подробно изучал данные об авторе, а уж потом принимался за текст.

Карточки тасовал до тех пор, пока не донесся до него грозный зов Мокрута. Затем, побывав пред очами, слушал, как председатель распекает секретаря и финагента. И дальше все шло по-заведенному. Председатель исчез, Печка с финагентом сели за шахматы, а посетители, исключая, разумеется, дедов и бабуль,

прилипли к секретарскому столу, следили за перемещениями коней и королей и забыли о своих делах. Иные ради этого и приходили.

Иван ненадолго вышел из своей каморки, постоял около шахматистов, хотел было что-то сказать Печке, но финагент иронически посмотрел на него и спросил:

- Чего тебе, начальник?

Он не произнес "колченогий", однако все поняли, что именно это имелось в виду.

Иван промолчал и, стараясь нахрамывать как можно меньше, прошел в комнату Мокрута. Там взял районную газету из последней почты и возвратился к себе. Газетка в районе выходила маленькая, как листовка, сводок и рапортов в ней пока еще не было, так что и хотел бы почитать, да не разгонишься. Заграничная информация, которая помещалась в конце второй страницы, уже давно передавалась по радио, и Иван ее слышал. Просмотр газеты занял всего несколько минут, после чего только и осталось, как снова взяться за картотеку. Попалась на глаза карточка Василя Печки.

Из-за перегородки слышен голос самого Печки, а тут его карточка. Старательно заполнен каждый пункт. Почерк ровный, чистый, лишь кое-где цепляешься за ненужные завитушки. Год рождения... Национальность... Дальше Иван читает о том, что ему хорошо известно. Вот хотя бы эти строчки: "Отец погиб во время Великой Отечественной войны, старший брат служит в армии..."

Привычно сказано: погиб. А что это значит, не всегда и представишь себе. У Ивана тоже погиб отец, у десятка добросельских семей - такие же записи. А что за ними? Может, эти люди сутками истекали кровью, прежде чем появилась возможность перевязать их, оказать запоздалую помощь. Возможно, лежали они где-нибудь посреди болота, в голом, безлюдном месте, где на них мог набрести разве что дикий зверь, но не теряли надежды на спасение... Возможно, выполняя боевое задание в тылу врага, пожертвовали жизнью, чтобы передать сведения, важные координаты. А может, некоторые из них живы и сейчас, томятся где-то, но не могут дать о себе знать на родину, попросить, чтобы их вызволили.

Когда Иван глубоко задумывался, перед глазами у него вставали самые разные обстоятельства гибели отца. И все они были героическими, потому что отца своего Иван очень любил. Сколько тот, вечный молчун и труженик, поносил уже не маленького сына на руках, пока у него болела нога и он не мог шага ступить. Бывало, выйдут весною в сад и отец скажет:

- Держись покрепче за шею.

Иван обеими руками обовьет отцовскую шею, потому что тот часто нагибается посмотреть, не слишком ли заглублена шейка деревца, не повредили ли зайцы кору.

- Скоро ты поправишься, - обнадеживает его отец, - станешь помогать мне. Мать у нас, сам видишь, все болеет, худо ей, а работы по дому много.

И мальчишка верил, что он поправится, будет стоять на своих ногах, ходить, бегать. В любое время года, в любое бездорожье брал его отец на руки и нес за несколько километров в медпункт. Старик-фельдшер осматривал ногу, давал мази и тоже говорил, что скоро все пройдет, заживет, что через какую-нибудь неделю-другую малец сможет бегать с кем угодно наперегонки. Отец утирал рукавом потное лицо и на глазах веселел, а маленький Иван смотрел на черные влажные космы отцовских волос, тихонько двигал больною ногой, и казалось ему, что вот сейчас он удивит не только отца и этого доброго дедулю-фельдшера, но и весь мир: встанет и пойдет сам домой. Отец едва будет поспевать за ним и до самой хаты не возьмет на руки, потому что в этом не будет нужды.

Иван и впрямь скоро поправился, однако все же хромал: ногу стянуло в поджилках. Долго еще он верил отцу и старому фельдшеру, что и это со временем пройдет, что он станет хорошо бегать и даже обгонит Андреева Владика, который, как известно, бегает быстрее всех. Потом надежда эта стала угасать, светлые мечты - рушиться, мальчик сделался тихим и не по годам задумчивым. В начальной школе он учился вместе с Василем и Владиком. Те каждый день зимой катили в школу на железных коньках, потом гремели ими даже в коридоре. А Иван уже не завидовал. Он уже знал, чувствовал, что не все то доступно ему, что доступно Василю или Владику. Ну и пусть у них по два конька, пусть себе железные, а у него один, деревянный, окованный толстой проволокой. Зато отец его сделал сам. Иван привязывал этот конек к правой ноге, а левой, которая была короче, отталкивался. Так и ехал по замерзшей канавке до самой школы.

Учился Иван хорошо. Отец теперь полагался в основном на это и всегда наказывал, просил:

- Учись, мой сынок, старайся. Помощи от тебя по дому не требую, справляйся хотя бы с уроками. Станешь ученым - будет и нам подмога.

Возможно, и стал бы Иван ученым, если бы не война...

...За перегородкой послышался раздраженный, с хрипотой от сухости во рту голос финагента. Он за что-то взъелся на Василя, злобно его отчитывал. Василь же отмалчивался, лишь время от

времени пытался вставить слово и то робко, примирительно, словно во всем признавал себя виноватым.

"Вот так он и с Мокрутом, - подумал Иван. - Что бы тот ни сказал - рта не раскроет, чтобы возразить. Всегда со всем согласен, во всем покорен, как будто и не бывает у него собственного мнения. А ведь когда-то был бойким, шустрым, лез в спор иной раз даже без нужды. То ли переменился человек с годами, то ли скрывал свою бесхарактерность".

К вечеру так скучно стало сидеть одному, что Иван был бы рад, загляни к нему кто-нибудь хоть на минутку. Ну, взяться на учет или там сняться. Но поскольку никто в его каморку не заглядывал, а какого-нибудь путного дела не находилось, парень стал подумывать о том, не сходить ли сегодня в Добросельцы. Купить хлеба в эмтээсовском ларьке, побывать на своем подворье, осмотреть сад, улей с пчелами да зайти спросить у Андреихи, не нужно ли ей чем помочь. Он не был Андреихе ни братом, ни сватом, но когда-то крепко дружил с Владиком, хотя тот был немного постарше. Родители их тоже дружили. Андрей захаживал к Иванову отцу на вечерки, а Андреиха никогда не стеснялась попросить у матери что бы ни понадобилось в доме: соли, спичек, буханку хлеба, катушку ниток. Зайдет, бывало, вот так, замешкается у порога и не заметит, как пробегут в разговоре десяток минут. Когда приходила вернуть взятое, повторялось то же самое.

Потом, после войны, сделавшей Андреиху и Ивана одинокими, они по велению душевного долга стали помогать друг дружке как-то наладить жизнь, справиться с тяжестью утраты родных и самых близких людей.

"У нее, гляди-ка, и дров колотых уже нет", - подумал Иван.

VII

Уже в сумерках Мокрут заглянул в сельсовет только с тем, чтобы подать знак секретарю. Тот мигом собрал свою папку и вслед за начальством вышел на улицу. Опять шел снег. В эту зиму редко выпадал день без снега: то он сыпал мелкий и колючий, как перетертый лед, то кружился мягкий и легкий, словно пух. Ворот кожанки у Мокрута был поднят, а Василь Печка натянул изо всех сил на уши шапку и спрятал под пальто свои бумаги. Так и двинулись по улице: Мокрут впереди, а Василь за ним. Внезапно Мокрут остановился, и Василь, шедший с зажмуренными от снега глазами, чуть не ткнулся лбом ему в спину.

- Знаешь что? - обернулся к нему председатель. - Память у меня что-то сдавать стала: забыл отдать одно распоряжение.

- Какое? - насторожился Василь.

- Забыл сказать колченогому, чтобы сходил ко мне да

напилил женке дров.

- Так я сбегаю скажу, - охотно вызвался Печка.

- Сбегай, брат, - попросил Мокрут, - а то женка завтра меня запилит. Скажи, пускай заодно передаст, что задержусь сегодня, опись буду делать. Ох уж эти жены! Ты, брат, не знаешь, какими ведьмами бывают иные из них. Ну и счастье твое, что не знаешь. Беги, а потом догонишь меня.

Секретарю в охотку было пробежаться, поспорить с морозцем, и Мокрут пошел дальше один. Кожанка на глазах белела: сперва снег таял на глянцевитой коже, а потом стал схватываться, отвердевать. Постепенно настыл кожаный воротник и начал обжигать там, где его подпирал розовый подбородок. Мокрут втянул голову в плечи и держался на всякий случай поближе к забору, чтобы не угодить невзначай под какую-нибудь машину. Этой эмтээсовской да колхозной техники ходило тут немало.

Под машину Мокрут не угодил, а с человеком едва не столкнулся лоб в лоб. Это был тот самый человек, которого председатель звал за глаза сивым молодоженом. Мокрут любил давать людям клички, и часто они были удачны. Встреченный человек действительно был сед, но не от старости, как это водится, а по природе. Говорят, отец его начал седеть лет в тридцать, а сыну как-никак было сейчас около сорока. Женился он, правда, недавно, однако и не так поздно, чтобы прокатываться на этот счет. Тут Мокрут, известное дело, преувеличивал. Роста он был немного выше среднего, как и сам Мокрут, только, пожалуй, пощуплее. Если бы они, к несчастью, и впрямь столкнулись, то вышло бы точнехонько нос в нос. Разве что воротники бы выручили: у одного кожаный, с острыми уголками, а у другого - овчинный, серый, как и пряди волос, что виднелись из-под рыжей высокой кубанки.

Звали человека Ильей Саввичем, и работал он здесь директором школы-семилетки. Увидев председателя сельсовета в вершке от себя, директор сперва резко отпрянул, потом принял в сторону. Ему не хотелось вступать в разговор с Мокрутом, которого в душе недолюбливал и признавал только как официальное лицо.

Вышло так, что Мокрут заговорил первым:

- Вы куда, Илья Саввич?

- Да в школу, - ответил директор. - Там же у нас...

- А-а, да-да, - подхватил Мокрут. - Знаете, Илья Саввич, я не смогу сегодня принять, так сказать, активного участия в представлении. Дела, понимаете, дохнуть не дают. Позвонили из района... Вот бегу на поселок.

- А что там стряслось? - без особой доверчивости спросил

директор.

- Описываем, Илья Саввич. Понимаете? Невеселое дело.

- Поменьше бы этих невеселых дел, - хмуро произнес директор и не оборачиваясь пошел дальше.

"Иди, куда идешь!" - пробормотал себе под нос Мокрут, досадуя, что вслух сказать этого не может. Приходится считаться с тем, что Илья Саввич депутат сельсовета и секретарь территориальной парторганизации.

Миновав несколько подворий, председатель подошел к окну нарядного домика, постучал в стекло и громко, с озорными переливами в голосе прокричал:

- Тихоня-а, выходи строиться!

- Нету дома, - едва послышался сквозь двойные рамы неприязненный женский голос.

- Где же он?

- А кто его знает. Я за ним не бегаю.

Мокрут уже собрался было отойти от окна, но тут внезапно отворилась филенчатая дверь и на крыльцо вышел грузный человек с непокрытой головой, в милицейском кителе, расстегнутом на груди.

- Чего тебе? - спросил он у Мокрута.

- Одевайся скорей и пошли!

- Куда?

- Дело есть. Срочное!

Когда участковый в полной форме и при оружии поравнялся на улице с Мокрутом, тот насмешливо бросил:

- За женкину спину прячешься?

- Да не прячусь, - принялся оправдываться Тихоня. - Чего там прятаться? Хотя, если подумать, что это за жизнь? Целый день на ногах, ночью тоже редко бываешь дома. А она, женка... Вот тут и крутись.

- Разбаловали вы своих жен, распустили!

- Кто это "мы"?

- Ты, к примеру, да этот наш мудрец седовласый, директор. И еще кое-кто найдется.

- Ну, знаешь, - снова начал участковый, - если толком подумать, то...

- Кстати, вот что, - перебил его Мокрут, - нет ли у тебя случаем каких ни то сведений об этих наших интеллигентиках?

- Например?

- Ну, возьмем хотя бы этого молодожена. Он что, не был, скажем, на оккупированной территории?

- Он не с моего участка по месту рождения, - мрачно ответил Тихоня. - И вообще свой человек. Ты это зря.

- Зря? - Председатель глубже втянул голову в воротник.

- Так куда же мы идем? - спросил Тихоня.

- Не бойся, не к молодожену.

Прошли в молчании почти до конца улицы, и, когда уже свернули на дорогу к поселку, Мокрут сказал:

- Семен Козырек приглашал. Там у него сегодня вроде бы родины. Секретарь мой придет, запишем ему пополнение да посидим с часок в тепле, потолкуем. Надо же как-то нам поближе к народу стоять, знать, как люди живут, чем дышат. Правда?

- Правда-то правда, - согласился Тихоня, - однако ежели толком подумать...

- Нечего думать! - опять перебил его Мокрут. - Человек приглашает, так не надо нос задирать. Наверное, ждет уже давно.

Когда Мокрут с Тихоней подошли к хате Козырька, тот был во дворе. По тому, как усердно рубил он дрова, по куче хвороста, дожидавшейся топора, можно было судить, что гостей здесь не ждали. Разглядев в сумерках начальство, хозяин, похоже, с сожалением вогнал в колоду топор, подтянул путо на куцем полушубке и сделал пару шагов навстречу.

- Хозяйничаешь? - обратился к нему Мокрут, вяло протягивая руку.

- Да вот, - кивнул Семен на кучу хвороста, - надо бы порубить да сложить, пока снегом не замело.

- А что это за дрова у тебя? - Мокрут подошел к колоде, взял в руки тоненький кругляшок. - Так это же, брате, что-то плодовое, груша или слива.

- Засохшая антоновка, - равнодушно сказал Семен. - Вот уже неделю баба не нарадуется с нею. Славно горит, чтоб вы знали.

- А ну, дай-ка, хозяин! - Мокрут с мальчишеской решимостью сбросил рукавицы, поплевал на ладони и взял из рук у Семена топор. - Люблю эту работку, - обернулся он к Тихоне, - так и тянет. Что бы тут на первый зуб?

- Да берите вот это, - предложил Семен и, с лукавством глянув на того же Тихоню, ткнул желтой бахилой в узловатый и довольно толстый комелек.

В отличие от мелких веток комелек требовалось расколоть. Мокрут выкатил его на ровное место, поставил торчком и, гакнув всем нутром, нанес удар. Не тут-то было: топор отскочил от среза, как от камня.

- Смерзся, - с заметной досадой сказал председатель и рубанул еще раз. На срезе появилась вторая белая полоска, а комелек стоял как ни в чем не бывало. Рубанул в третий раз - третья полоска, в четвертый - четвертая.

- Что-то у тебя сегодня... это самое... - переступил с ноги на

ногу Тихоня. - Давай я.

Мокрут уже со злостью покачал головой и отдал топор Тихоне.

- Мой бы колун сюда, - произнес, оправдываясь.

Тихоня взял топор в обе руки, повертел его перед глазами, словно проверяя, железный он или еще бог знает какой, примерился и хватил по комельку так, что ушанка наехала на глаза. Острие чуть-чуть вошло в дерево, но камелек и не думал раскалываться. Тогда Тихоня стал сыпать с плеча, и вскоре комелек уже походил на размочаленную колоду, на которой Козырек рубил дрова. Но все было тщетно.

- У тебя еще хуже получается, чем у меня, - сказал Мокрут и принялся расстегивать пояс своей кожанки. - Надо с другого конца попробовать.

Он сбросил кожанку, чуть ли не силой отнял у Тихони топор и стал изо всех сил лупить по другому срезу комелька, стараясь угадать в одно и то же место. Однако чем шире он замахивался, чем с большей силой опускал топор, тем заметнее подводила его рука: белые царапины возникали то здесь, то там, но всё вразброс, всё без толку.

- Нет, этого не расколоть, - выдохнул наконец Мокрут. - Темновато уже, да и топор больно легок. Ну что это за топор? Если б моим колуном!

С последними словами председатель взглянул на Тихоню и вдруг ощутил неловкость, словно его уличили во лжи. Вспомнилось, что Тихоня не раз бывал у него дома и, наверное, заметил, что тот самый колун давно валяется на дровянике без топорища. Видел он, разумеется, и то, что дрова председателю пилит и колет "колченогий начальник".

- Этому уже, видно, лежать до весны? - обернулся Мокрут к хозяину. Оттает, тогда и расколется.

- Почему? - мягко возразил Семен. - Можно и сейчас расколоть.

Он как-то по-своему, цепко и уверенно огладил покрасневшими от холода широкими ладонями комель, повернул его так и этак, выбрал место и, кажется, совсем легонько, даже без размаха, тюкнул по нему топором. Острие сразу въелось в дерево, перекрестив поперек все Мокрутовы черточки. Семен тихонько, словно лаская, похлопал правой ладонью по концу топорища - топор послушно выскользнул из надкола. Семен снова занес топор, тот описал в воздухе дугу, в последний момент набрал силу - и комель развалился надвое.

- Смотри ты! - качнул головой председатель. - Хозяин, он и есть хозяин.

- А мы с тобой давно топора в руках не держали, - надевая рукавицы, проговорил Тихоня, - так бы и сказать. У меня женка все тянет на своих плечах, а у тебя...

- Ладно тебе, - слегка смутившись, сказал Мокрут и незаметно взглянул на свои ладони. Ладони горели, того и гляди, через какой-нибудь час на них вздуются белые пузыри.

- Одному я только рад, - не унимался участковый, - что сам председатель сельсовета расправлялся сегодня с подлежащей обложению антоновкой. Да еще как азартно!

- Ты наконец прикусишь язык? - резко бросил Мокрут, а сам все же рассмеялся, виновато покачал головой.

- Так, может, зайдем? - не слишком настойчиво предложил Семен Козырек, когда уже и Василь Печка, съежившийся, весь в снегу, с папкой под пальто на груди, объявился во дворе и никто больше не помышлял о том, чтобы продолжить состязание в рубке дров.

...После того как была учинена запись о пополнении у Семена в семье, как уговорили в тепле за столом положенное по такому поводу, покидали поселок не сказать чтобы легко и во всех отношениях безупречно. Если бы кто-нибудь видел их следы на улице, скорее всего подумал бы, что нечистая сила водила людей из стороны в сторону. Вперемежку с этими бестолошными следами попадались и целые логовища в снегу. Это Мокрут с Тихоней в обнимку отдыхали по пути, пока Василь Печка, выпивший чуть-чуть поменьше, чем они, и оттого более устойчивый на ногах, выбирал направление и протаптывал тропку. Ночь была темная, снегу за вечер заметно прибавилось, не было видно ни дороги, ни каких-либо ориентиров, за которые мог бы зацепиться нетрезвый глаз. А тут еще эти окрики позади, противоречивые команды.

- Печка-а! - вопил Мокрут. - Ты смотри же, будь человеком! На Добросельцы держи, прямо на дом мельника!

- Не слушай его, Василь, - настойчиво гнул свое Тихоня. - Что нам с тобой делать в этих Добросельцах. На Червонные Маки давай. Там меня женка ждет, а тебя - мать.

По команде Мокрута Василь начинал забирать вправо, где была дорога на Добросельцы, когда же принимался уговаривать Тихоня, ноги сами несли его налево. И одного нельзя было не послушаться, и другого. А что делать? Василь до тех пор покорно исполнял команды и поворачивал то вправо, то влево, пока совсем не сбился с дороги и не стал описывать круги по полю. Кружил, видно, часа два, прежде чем выбился на какой-то поселок и сообразил, какой именно. Тут уже и собаки спали. Чуть ли не в каждый двор тыкался, чтобы постучаться, попроситься на ночлег,

да все без толку: то калитка была заперта так, что хоть зубами ее грызи, то отпугивал сугроб перед воротами, непреодолимый, судя по всему, для начальства.

Только в самом конце поселка мигнул огонек в окне и тут же погас. Василь прибавил шагу, но его окликнул Мокрут:

- Куда ты ведешь нас, Сусанин проклятый?

Василь остановился и, потирая уши, стал ждать, пока приблизятся его подопечные.

- Чего стал, как столб? - и на этот раз выразил недовольство председатель.

Мокруту и трезвому нелегко было угодить, не то что пьяному. Василь хорошо знал это, но сдерживался, потому что надо было подумать и о себе. Осеннее поношенное пальтишко, да шапка летняя, да к тому же без рукавиц. Долго не выдержишь в такой одежонке, даже если ты малость и под градусом. Сказал про свет в окне и снова двинулся вперед.

...Когда назавтра возвращались домой, Мокрут незаметно посмеивался себе в воротник, а время от времени оборачивался к Тихоне и вполголоса спрашивал:

- А славно погуляли! Правда?

VIII

Выйдя из эмтээсовского ларька, Андреиха почувствовала, что мороз, похоже, совсем отвалился. Однако немного погодя стала поеживаться и кутаться в платок - нет, мороз все-таки хватал за потную спину, за ноги и за голую руку, в которой она несла полбуханки хлеба.

На улице ей повстречался Шулов и, как она ни старалась проскочить незамеченной, все же остановил ее.

- Вы еще только с фермы? - спросил доброжелательно, пряча огромные красные руки в карманы пальто, до потрескивания в швах раздутое теплой поддевкой.

- В ларьке была, - торопливо ответила Андреиха, надеясь на этом и кончить разговор. - Хлеб там давали.

- Хлеб? - Шулов посмотрел на ее посиневшую руку. - А я подумал, что это вы одолжились у кого-то. Что ж мне никто не сказал?

Андреиха переложила хлеб в другую руку, приняла немного в сторону, давая понять, что ей надо спешить домой, а то рубашка к телу примерзнет, но Шулов даже и не заметил этого. Поглядывая то и дело на свои теплые сапоги с отворотами, он все чего-то медлил, все затягивал разговор.

- Боровок ваш хорошо ест, - сказала наконец Андреиха, заметив, что председатель явно ходит вокруг этого, но вроде бы не отваживается спросить.

- Я вовсе не об этом, - поморщился он, скрипнув сапогами, - да раз уж вы вспомнили, то интересно все же... Сегодня я не был на ферме. Что вы ему давали сегодня? Отруби были? Я могу немного муки вам выписать, если нужно. И себе какой ни есть блин испечете. Выписать?

Андреиха все перекладывала хлеб из одной руки в другую, потом, ощутив, что он начинает каменеть, пыталась прикрыть его полою свитки. Взялась пальцами за пуговицу и уже понять не может, пуговица это или какая-то ледышка. Пока одною рукой силилась совладать с пуговицей, из второй выронила хлеб, и он поехал с уклона по скользкой колее. Шулов догнал его и, протягивая хозяйке, неуверенно спросил:

- Может, завтра кто-нибудь подменил бы вас на ферме, а вы пришли бы малость подмазать стены в моей хибаре? А?

Андреиха подула на хлеб, обеими руками прижала его к груди и молча направилась домой. Дома поставила хлеб на тарелке в печь, а сама принялась ходить по хате и растирать руки.

"Разъелся, - думала она о председателе, - его, хоть и раздень, мороз не проймет".

Брякнула щеколда в сенях, и в хату вихрем ворвалась Даша. Она была без куртки, только белый вязаный шарфик, брошенный на волосы и обернутый вокруг шеи, свисал одним концом на грудь, а другим на спину.

- Что так поздно, тетка Настуля? - с ходу налетела она на хозяйку. - Я уже забегала к вам. Что-нибудь на ферме?

- Я не с фермы, - снимая озябшими руками свитку, сказала Андреиха. - В ларьке была. - Она показала свободной рукой на заслонку - там, мол, оттаивает хлеб. - Выскочила оттуда, как из бани, бегу домой, а тут Шулов навстречу.

- Насчет боровка? - усмехнулась Даша.

- А что ему еще? Уж и не знаю, когда наберусь смелости плюнуть этому слизняку в глаза.

Андреиха силилась подцепить пальцами вешалку, чтобы повесить свитку, да ничего у нее не выходило - не гнулись пальцы.

- Давайте я вам помогу, - бросилась к ней Даша. - Ой, как же озябли! Давайте потру руки!

Легким движением головы она помогла своему шарфику сползти с головы на шею, и лицо ее еще больше посветлело и ожило, вся она похорошела.

- Такая очередь в ларьке? - удивилась она.

- Да нет, дольше выслушивала на улице шуловские песни.

- Ну, завтра он у меня запоет! - вдруг со злостью и возмущением сказала Даша. - Так запоет, что на все Добросельцы

будет слышно.

- Что ты ему сделаешь? - Андреиха немного смутилась, прочтя на лице девушки непреклонную решимость. - Турнешь его пестуна с фермы?

- И турну, думаете, слабо? В правление колхоза загоню! Вот увидите!

- Не трожь ты его, пропади он пропадом.

Андреиха, кое-как отогрев руки, стала проворно управляться по дому. Даша глянула в один угол, во второй, сразу смекнула, что к чему, и тоже принялась за дело. В чужой хате все у нее ладилось так же ловко и споро, как в своей собственной.

- А что у вас на ужин, тетка Настуля? - спросила у хозяйки, когда была уже подоена корова, напоен бычок и наведен порядок возле печи. В работе прошла у девушки злость на Шулова, поднялось настроение и лицо снова весело оживилось.

- Вот молока свеженького нальем, - сказала Андреиха, - да и поужинаем. Может, и ты со мной?

- Нет, я поела, - по-семейному ответила Даша. - А что, горячего у вас ничего нет?

- Да разве не простынет с самого-то утра?

- Обождите!

Спустя минуту-другую девушка снова вбежала в хату, на голове у нее был все тот же белый шарфик, но передний расширенный конец его прикрывал что-то круглое, обернутое рушником. Придерживая это "что-то" одной рукой, она взяла с припечка деревянный кружок-подставку, положила на стол, пригнулась над ним, а когда распрямилась и отступила на шаг, от стола густо повалил пар на нем стоял чугунок только что отваренной картошки.

- Будто знала, - радостно произнесла Даша, - два чугунка начистила и поставила: один своим мужчинам, а второй вот нам с вами.

Опрокинули чугунок над миской, и вкусный картофельный дух разнесся по всей хате. Рядом с миской Андреиха поставила горлачик с молоком. Стали ужинать, и все дневные хлопоты и неприятности как-то незаметно отступили, улетучились из хаты.

На улице послышались голоса: сперва девичьи, а потом кто-то из парней бойко спросил:

- У тебя есть конспект по "левизне"?

- Нет, мы "левизну" не конспектировали, - ответила девушка.

- Студенты приехали, - прикрывая форточку, заметила Даша. - Каникулы.

После этого они ели молча, погруженные каждая в свои мысли, в свои воспоминания.

"Куда же они пойдут, студенты? - разбирало Дашу любопытство. - Может, к нам? - Прислушалась. - Нет, прошли мимо, дальше пошли. Ну и пускай". Не было у Даши ни малейшей досады на то, что парни и девчата миновали ее двор. Что ей эти студенты? Вот если б прилетел тот студент, с крылышками на погонах! Если б это его голос послышался на улице! Пришлось бы скорее всего тетке Настуле одной доедать картошку, не усидела бы она, Даша, в хате.

Андреиха тоже думала о студентах и тоже не о чужих. Были у нее когда-то свои студенты. Один учился перед войной на втором курсе пединститута, а второй заканчивал десятилетку. Ходили вот так же по деревне во время каникул, распевали песни, а придут домой - и вместе с ними вливалось в хату все, чем хороша и радостна жизнь. Метель на дворе казалась ласковой.

- Спасибо тебе, Даша, - сказала наконец хозяйка, - отогрела ты меня...

За стеною, видно, набирал силу ветер: сухая ветка малины, хотя и осторожно, начинала уже скрестись в стекло. Этот звук всегда напоминал Андреихе о зиме, о стуже и почему-то о людском горе, как ни гнала она от себя эти мысли. Уже в который раз собиралась пробраться через сугробы в палисадник да выломать этот осточертевший куст. Но как-то жаль было ломать свое, привычное, хотя утрата, конечно, невелика. Вообще не поднималась у нее рука что-нибудь сломать, покалечить, а тем более - что-нибудь живое. Тот же бычок в хлеву. Перевела вчера из сеней. Если на добрый лад, то его уже давно надо бы зарезать, а об этом и подумать-то невмоготу. Войдешь, а он смотрит на тебя такими ясными и доверчивыми глазами. Да попроси она Митрофана освежевать бычка - несколько дней не то что телятины этой бы не ела, а ничто другое не полезло бы в рот.

Ветка за окном заскреблась сильнее, словно просилась в хату, и хозяйка невольно вздрогнула, ей почудилось, будто от окна потянуло холодом. Встала, взяла со стола чугунок, миску, горлачик с недопитым молоком, отнесла на лавку у печи. Снова подсела к столу, сложив на груди руки, но просидела так недолго. Не в ее правилах было сидеть сложа руки. Даже если случалось с кем-нибудь заговорить и речь шла о самом что ни есть интересном, ей и тогда было жаль времени, все казалось, что не имеет на это права, все мерещилось какое-то неотложное дело.

Достав из запечья несколько мотков шерстяных ниток, она стала надевать их на мотовило, но Даша отставила это допотопное приспособление в сторону и вызвалась держать мотки сама.

- А может, тебе надо куда пойти? - сочувственно спросила

хозяйка. - Там же вечорки где-то, молодежь, поди, собралась.

- Никуда сегодня не пойду, - решительно отмахнулась Даша, - побуду с вами.

- Ты вот зря не одеваешься, - поведя плечами от мысли про холод, сказала Андреиха. - И раз прибежала в одной кофте, и второй...

- Так у меня же она шерстяная, - заметила девушка, - вязаная.

- А мне и в кожухе иной раз страшно на мороз выйти, - продолжала Андреиха. - Особенно ночью. Как засвищет, как зашумит на дворе - меня так и тянет к печи. В сени и то выглянуть боязно. Все чудится, будто где-то кто-то мерзнет в это время в пути - пешком ли идет, или едет на обессиленном коне. Метель, сугробы выше пояса, а впереди ни дороги, ни огонька. Жалость разбирает, так и кажется, что слышишь, как трудно дышит этот человек, видишь, как он то и дело растирает руки, нос, щеки и все всматривается в темноту, ищет спасения. Тут тебе и жалость, и радость. Радость за себя: у тебя и крыша над головою, и печь не совсем остыла, и никто тебя не гонит из твоего прибежища. Часто вспоминаю, как и меня вот так же когда-то застала в дороге ночь. Да если б только ночь, темень! А то ведь такая метелища расходилась, такой лютый был мороз! Душа стынет, как подумаешь.

Юная соседка с ожиданием и любопытством смотрела на Андреиху, а та, застегнув на все пуговицы короткую, словно специально подрубленную душегрейку, похоже, собралась говорить долго - на все, сколько их было, мотки ниток. Даша любила слушать тетку Настулю, знала: она никогда не скажет пустого и ничего не прибавит к тому, что видела или слышала сама.

- Это еще до войны было, года, видно, за четыре до войны. Владик мой в шестом классе учился, а Павлуша - в восьмом. Пошли мы как-то с Владиком в город своим ходом, коня нам не дали. По пути тоже нигде не подъехали: не очень-то кто возьмет таких, как мы. Словом, пришли уже к полудню, хоть и выбрались чуть свет. Какой там день в такую вот пору. Аккурат и тогда, помню, были зимние каникулы. Пришли да еще там немало выстояли, пока пустили нас... Батьку ходили проведать... Вот, значит...

- Обождите, тетка Настуля, - перебила Андреиху Даша. - А что, дядька Андрей там в больнице лежал?

- Не в больнице, под следствием, - спокойно уточнила Андреиха. - Ты разве не помнишь?

- Было вроде что-то такое, - смущенно моргая, сказала Даша, - да как-то призабылось уже.

- Под следствием был, - повторила Андреиха. - Да заболел, как только его забрали. Я часто ходила в город, а в тот раз и Владик напросился: пойду, и все тут, хочу повидать тату. Говорит сквозь слезы: вижу батьку во сне каждую ночь, да все босого и оборванного, с большущей бородой. Хочу посмотреть, какой он сейчас. Я, правда, не говорила, что Андрей болен, да, видно, дети по моим слезам о чем-то догадывались. Бежал впереди всю дорогу, столбы верстовые считал, меня за руку тянул, не мог дождаться, пока покажется город. Пришли, а он весь дрожит, бедный, от волнения, не знаю, что бы тогда с ним и было, если б, к счастью, не обернулось все нам на руку. Стоим, ждем, и вот подходит к окошку один военный, подзывает меня и говорит:

- Не мерзни тут, тетка, и мальца своего не морозь. Твой вчера отсюда выпущен и переведен в больницу.

Сказал он это и захлопнул окошко. Стала стучаться, чтобы толком расспросить, да больше уж не открыл. А тут людей много стояло. Отошли мы с Владиком и не знаем, что делать. И радость такая, что аж плакать охота, и тревога. Не знаем, в какую больницу идти. Может, в тюремную?

- Он же сказал, что выпущен, - говорит радостно Владик, а у самого слезы на щеках. - Раз выпущен, значит - в городской.

Пошли мы туда, спрашиваем. Есть такой, говорят. Сейчас сообщим врачу, и вас пропустят к нему. Мы уже хотели домой вам писать.

И вот бежит мой Владик по коридору, я за ним едва поспеваю. Белый халат на нем до полу, на мне - тоже.

- Не топочи так, - бранится на него какая-то докторша, а он и не слышит. Прочел на бегу номер палаты и замер перед дверью: дышит тяжело, на глазах слезы. Я постучалась, слышу - голос. Вроде бы его голос, Андрея. Отворила дверь и не успела оглядеться, где он, на какой койке, как Владик уже возле него. Обнимает батьку, целует, гладит по щекам. А я села на койку в ногах и плачу, слова сказать не могу... - Андреиха на секунду-другую перестала наматывать клубок, склонилась головой к столу. - Ты уж прости, Дашенька, что я вспомнила об этом, - сказала, вытирая косточками пальцев глаза. - Столько лет прошло, а как вспомню те дни, меня всю колотит.

- Рассказывайте, тетка Настуля, - попросила Даша.

- Сижу, значит, потом Андрей протягивает ко мне руки. Худой, желтый весь, но ничего: выбрит, подстрижен, как все равно ждал гостей. И лицо веселое: "Не горюй, мол, теперь все хорошо". Взяла я в обе руки его голову. Чернявый он был, ты же помнишь. Смотрю: чернявый-то чернявый, да среди черных волос уже есть и белые. У меня руки так и заходили.

- Поседел ты, - говорю, - Андрейка.

А сосед по койке, пожилой такой человек, успокаивает:

- Ты, молодка, на волосы не гляди, ничего они, волосы-то, не значат. Важно, что сам, как говорится... Через черные наветы человек прошел. Это тебе не шуточки.

- Всё позади, - подхватил Андрей. В голосе радость. Вижу, он даже встать силится, а душой чую: нельзя ему вставать, слаб еще. - Слег вот только, - продолжает Андрей. - Крепко простыл. Да ничего, теперь быстро поправлюсь. - Взял Владика за плечи, привлек к себе и не то спрашивает, не то думает вслух: - Испугался ты в ту ночь, правда? Переживал, поди, гадал: а может, отец и впрямь в чем-нибудь виноват. Выбрось все это из головы. Ни в чем я не виноват! Не был и не буду! А тот, кто хотел нас очернить, пускай сам почернеет со злости.

- Поехали, тата, домой, - упрашивает Владик.

- А на чем вы?

Владик как-то жалостно посмотрел на меня, а что я скажу? Пришли, говорю, на своих на двоих, никто нам коня не дал.

- Скажи, - говорит, - бригадиру, что если снова не даст, пускай не показывается мне на глаза. Запрягайте, что там подвернется, и в это воскресенье приезжайте. - А был, помнится, вторник. - К тому времени, говорит, - меня выпишут.

Ну, попрощались. Выходим за город, а уже и смеркаться начинает. Я хотела было вернуться назад, поискать где-нибудь ночлега, а Владик тянет: "Пошли, мама, скорее домой, я должен завтра же узнать, кто заявил на тату". - "Да пускай его люди знать не знают, - говорю, - на кой он тебе?" Пошли, а ветер все крепчает, мороз к ночи все злее. Обогнала одна машина, Владик голосовал, потом долго бежал за нею - не остановилась. Идем дальше, прибавляем шагу, пока дорогу не замело да глубокая ночь не легла. Дошли до Живоглотовичей, ты же знаешь, это километрах в десяти от города. "Больше по пути деревень не будет, - говорю Владику. - Давай попросимся, может, кто-нибудь пустит переночевать". Говорю, а сама думаю: "Кто это нас пустит? Ни документов у нас, ничего".

Идем деревней, миновали один двор, второй. Темно в хатах, спят люди или просто света не зажигают, чтобы всякие там не стучались в окна. Ворота у всех высокие, калитки прочные и, конечно же, с запорами изнутри. Этак и к окну не подберешься. Чтобы не терять зря времени и сил, пошли мы дальше. Километров двенадцать, осталось, и уже ничего живого впереди, только погост будет километров через семь. Боюсь, ноги бы не подвели. Не столько за себя боюсь, сколько за Владика. С самого утра ничего не ел, да все на холоде, да все в волнении.

А ветер крепчает, дует в лицо, кружит, переметает дорогу. Два шага ступишь - и сугроб. Вижу, мой Владик по пояс проваливается в эти сугробы, едва ноги вытаскивает. Сколько их, сил, у подростка, да еще и не очень-то крепкого здоровьем. Если там малость какая, то еще и пробежится, и вприпрыжку пустится, а выносливости мало. Тут мы, старшие, все же посильнее. Взяла я Владика за руку: "Иди, говорю, рядом". А он вырывает руку и все норовит держаться впереди, чтобы, значит, прикрывать от ветра меня. Потом оборачивается и говорит: "Посидеть бы где-нибудь хоть минутку, чтобы ноги не млели, а там уж шли бы до самого дома". - "Нельзя, сыночек, садиться, говорю ему, - а то еще хуже ноги заболят, да и мороз может прихватить, если не двигаться".

Говорю ему это, а сама силюсь развязать торбочку с хлебом. Руки одубели, вот как сегодня, пока Шулов мне песни пел, не поддается завязка. Потом зубами кое-как развязала, достала горбушку, сунула себе за пазуху, чтоб оттаивала. Думаю: дойдем до погоста, там все же найдем затишек где-нибудь за деревьями и покормлю Владика. Век боялась кладбищ, за версту их обходила, а тут отчего-то казалось, что даже среди могил будет уютнее и не так жутко, как на открытом, на дороге.

Идем, идем, уже, похоже, не семь, а больше километров отмеряли, где-нибудь, гляди-ка, первые петухи поют, а погоста все нет. Страх меня берет, холодный пот на лбу выступает: "Если сбились с дороги, то конец загинем в поле". Однако нет, недавно Владик сказал, что столб видел, значит, не сбились. И под ногами время от времени ощущается твердое.

Погост этот самый возник перед нами только часа через два. По шуму я его узнала, а на глаз, так, поди, и не заметила бы. Стала присматриваться, кланяться сугробам: впрямь это кладбище или просто лесок какой-то? А если кладбище, то можно ли будет там хоть как-то укрыться от метели? Владик уже едва ноги тащит. Уже я держу его за руку, иду впереди сама, а он ничего не говорит. Смотрю и то закрою глаза, то открою: не то действительно вижу впереди какие-то огоньки, не то уже мерещится мне от усталости. Мелькнет огонек и погаснет. Потом опять мелькнет, да не один, а два-три разом. Задержала я Владика и шепчу: "Смотри, сынок, туда, где кладбище. Ты ничего не видишь?" - "Вижу, говорит, какие-то огоньки, только не на кладбище, а ближе, по эту сторону".

Похолодело у меня все внутри, а страха почему-то нет. Только Владика жаль. Легла я на снег и его за руку потянула. "Лежи, шепчу, может, даст бог, все обойдется".

В голове все как-то по-особенному чисто и ясно. Слышу, как ветер шумит в голых надмогильных березах, как одна ветка

трется о другую. Лежать вроде бы и не холодно, идти было холоднее. Под локтями перемет из снега. Зарываюсь в него, как в подушку, и Владика прижимаю к себе. Огоньки мерцают все ближе, замирают на месте и опять - то туда, то сюда. Знаю, что это не чудо, хотя где и быть чудесам, как не рядом с кладбищем. Знаю и понимаю умом, что это волчья стая. Не видела волков никогда, но слыхала от старших, что они рыщут вот так на пилиповки и нападают на людей. А сейчас аккурат пилиповки. Закрываю собою Владика, глубже вжимаюсь в снег, а все равно, кажется, ничего не боюсь. Только слышу, кто-то будто зовет меня тихо и ласково: "Настулька!.." Вслушиваюсь: Андреев голос. Это там, в городе, он так меня назвал, когда прощались. Что, если учуют нас и нападут? Ветер дул так яростно и злобно, пока мы шли, а тут словно бы поутих, присмирел. Только бы Владика уберечь! Ну что ж ты, ветер? Пускай бы нас сейчас замело, завалило снегом, льдом, почерневшими листьями с берез!.. Если не обоих, то хотя бы одного Владика. Чтобы его не заметили, не тронули волки.

Думаю так, а сама не свожу глаз, наблюдаю за огоньками. Ветер в нашу сторону, они могут и не учуять, что здесь люди. Или в пылу своей свадьбы забудут о нас. Вот передняя пара огоньков мелькнула и погасла: ага, значит, отвернул, зверина, в сторону. Потом еще двумя огоньками меньше и еще... Проходит время, и мне уже кажется, что волки обошли нас, подбираются сзади. Боюсь шевельнуться, чтобы посмотреть. Вдруг Владик так решительно, по-мужски шепчет: "Вставайте, мама, и бежим!" Я вскочила, словно только и ждала этих слов. Припустили, откуда только силы взялись. Бежим, бежим, дух занимает, из-за метели света не видно, а мы все бежим, не оглядываемся. Остановились, когда уже ноги стали подкашиваться. Хватаю Владика за руки, чтобы оттереть их, обогреть дыханием лицо, и нащупываю у него в руке раскрытый складной ножик.

- Это что, волки были? - спрашивает Владик.

- Волки, - отвечаю, а самой так радостно за мальчишку, и вся тревога отлегла от сердца. Теперь я уже верила, что дойдем до дома и ничто нас не остановит. Протянула Владику оттаявшую горбушку, он разрезал ее этим ножиком и отдал половину мне. Мы стали спиной к ветру, прижались друг к дружке и наспех перекусили. Пообедали, так сказать, хотя по времени, видно, пора бы уже и о завтраке думать. Подкрепились, пошли дальше. Так и пришли. Владик после не раз вспоминал ту ночь. Говорил: если бы и еще столько же идти - все равно дошел бы. Это все ради отца. Однако, бедняга, долго болел после того.

Даша заслушалась и не заметила, что на руках у нее уже нет

мотка. Руки, протянутые вперед, стояли локтями на столе, узкие ладошки тихонько шевелились.

- Владик... - негромко произнесла она, когда хозяйка искала начало нового мотка. - Он и потом был таким же славным, надежным... Не зря же вот и на фронте...

- Да они оба, если б дожили... - горестно вздохнула Андреиха. - Награды большие у обоих. Даже батьке и то дали орден, хотя и после смерти уже. Город Столбунов брали, так первым со своим отделением вышел в тыл врагу. У меня такое описание есть, из части прислали.

IX

Митрофан с Платоном тоже уже уходили свой чугунок бульбы и теперь сидели вдвоем, подпирая спинами печь, вели негромкую беседу. Тимоша поужинал раньше и махнул куда-то со студентами, с которыми еще минувшей зимой бегал в десятилетку. Платон рассказывал Митрофану о колхозных лошадях, сетовал на некоторых колхозников: совсем не щадят скотину. "Как же так можно? возмущался старик. - Дал вчера по приказу председателя одной женщине подводу. Положил сена в сани, чтобы, значит, покормила кобылку в дороге. А она, та женщина, что сделала? Заехала домой, свалила все сено своей корове и целый день возила дрова на голодной кобыле. Пригнала в конюшню поздно вечером, бросила не распрягши, мокрую и дрожащую".

Всю ту ночь маялась кобыла животом, и всю ту ночь Платон не отходил от нее, проклинал и женщину, и председателя, и свою горемычную судьбу, сделавшую его конюхом.

Из присущей ему своеобразной деликатности Платон не сказал, кто была та женщина, однако Митрофан понимал, что все следы ведут к пресловутой Кадрилихе, потому что никто другой в колхозе так не поступил бы. Из мужчин разве что один Заткла. Понимал Митрофан, что и загнанная кобылка тоже неспроста не была названа по кличке. У Платона вообще не было на конюшне просто лошадей, обычной тягловой силы. В каждом стойле занимало место необычное существо, каких не было и не могло быть в других колхозах. Что же касается кобылки, о которой шла речь и которую, как догадался Митрофан, звали Лысухой, то это была одна из любимых воспитанниц Платона. Еще прошлую зиму она ходила в жерёбках и доставляла старому конюху немало приятных забот. Вырвется, бывало, из конюшни и айда вскачь по улице. Мальчишки с визгом за нею, а она вылетит на выгон, обогнет в два счета деревню и уже мчится с другого конца. Тут старик выходит наперерез, расставляет руки, и Лысуха резко останавливается, въезжает копытами в снег. Редко она

осмеливалась проскакать мимо Платона, а если, бывало, не сможет унять свою молодую прыть, то на втором круге непременно давалась в руки. Примчится, уткнется мордой в Платонов кожух и сопит разгоряченно и виновато.

Беседа у стариков затягивалась. Платон уже раз-другой порывался встать, чтобы идти на конюшню, но Митрофан задерживал его, зная, что все равно не уснет до вторых петухов, как бы ни старался. А что может быть мучительнее бессонницы в глубокую ночь?

Митрофан встал, чтобы зачерпнуть себе напиться, а может, и Платону подать, если захочет, как вдруг, хлопнув с разгону дверью в сенях, вбежала Даша.

- Бычка украли! - на бегу крикнула она, торопливо надевая стеганку.

- Чего? - не понял Митрофан. - Какого бычка?

- У тетки Настули! - уточнила Даша. - Идите скорее туда, а я побегу скажу ребятам.

Она умчалась, не закрыв даже дверь, а Митрофан с Платоном без особой спешки накинули на плечи кожухи (отдавая должное чугунку картошки, Платон разделся, хотя обычно мог просидеть в кожухе целые сутки при любой жаре) и пошли к Андреихе. Пока добрались, Даша с парнями была уже там. Среди них и Тимоша. Как гуляли вместе на вечерках, так и ринулись всем гамузом на Дашин зов. Они сновали по двору, громко переговаривались, давали разные советы, а некоторые считали, что лучше всего пойти прямо к Кадрилихе и обшарить там все закоулки.

Митрофан, переглянувшись с Платоном, разом унял всю эту неразбериху. Обычным своим шепотом, но твердо он приказал хлопцам не затаптывать зря следы, а сам взял из рук у Андреихи "летучую мышь" и подался со двора в сторону гумен. Поплелся за ним и Платон. Немного погодя они возвратились и показали хлопцам, куда ведут следы: один человеческий, второй - от копытцев. Видимо, не шибко силен был вор: не понес бычка на руках, а тащил его на веревке. Поскольку женщины хватились сразу, следы еще не успело замести.

Парни побежали по следу, благо кое у кого из студентов были карманные фонарики. Увязалась за ними и Даша, а Митрофан с Платоном пошли потихоньку, просто из любопытства.

"Кто же бы это мог быть? - думала на бегу Даша. - Неужели тот самый Заткла, Кадрилихин прислужник?"

Впереди всех мчался Тимоша, а чуть не шаг в шаг за ним бежал длинноногий студент, освещая след фонариком.

- Вон он, бычок! - обрадованно и тревожно крикнул Тимоша, обернувшись назад и показывая влево от себя, в сторону

недалекого поселка.

- Это собака, - не поверил студент.

Но он был не прав: возле землемерного столбика в поле по брюхо в снегу и впрямь стоял и дрожал от холода Андреихин бычок. Следы от столбика вели вправо, к огородам, и Тимоша припустил туда. Скоро он заметил, как у заборов мелькнуло что-то черное и покатилось по снегу в направлении Кадрилихиного огорода. Одновременно то же самое заметила и Даша.

- Заткла! - крикнула она звонким девичьим голосом. - Отрезайте ему дорогу, а то юркнет в огород и поминай как звали!

И едва эта самая Затычка собралась перемахнуть через плетень, как Тимоша нагнал беглеца и с разгона ткнул кулаком в спину. Тот ойкнул и ополз по плетню вниз, а хлопцам, что подбежали позже, показалось, будто вор все же изготовился сигать дальше, так некоторые из них тоже приложились по разу.

Вор уткнулся лицом в снег и стал жалобно, по-детски плакать и причитать:

- Бейте меня, братцы, убивайте!.. Все равно не жить мне больше на свете. Убивайте!

Голос был не похож на Затклин. Даша подошла ближе, студенты посветили. Человек лежал ничком, закрывая лицо рукавами. Из снега торчали старая, облезлая шапка-ушанка, снятая, видно, с пугала в огороде, и латаный-перелатаный кожух, подпоясанный веревкой. Хлопцы взяли человека за руки, чтобы поставить на ноги, но тот, стеная и ойкая, вырвал руки и снова брякнулся в снег. Тогда Тимоша взял обеими руками его за голову и повернул ее на свет фонарика.

- Василь! - вдруг ошеломленно воскликнула Даша. - Вася, неужели это ты?!

- Убивайте меня, братцы! - снова взмолился человек. - Кончайте на этом самом месте, не хочу я больше жить.

Это действительно был Василь Печка.

Всем сделалось не по себе: с одной стороны, перед ними, как ни говори, лежал вор, которого сгоряча можно было и ударить, и оскорбить, которого надо вот сейчас же отдавать в руки местных властей, а с другой - это товарищ, друг, с которым не так давно вместе учились, вместе гоняли по улице. Даша тоже растерялась, не знала, что делать.

- Как же это ты, а? - все допытывалась она. - Как же это тебя угораздило, Вася?

Притащились по следам всего гурта Митрофан с Платоном, увидели, что попался не кто-нибудь там, а начальство, и поплелись молча обратно: подальше от греха, от возможных неприятностей. По дороге прихватили бычка.

Даша продолжала допрос, но Печка только плакал, жаловался на судьбу, а в разговор не вступал.

- Хочешь, мы отведем тебя домой? - спросила Даша, но Печка и на это ничего не ответил.

Тогда Тимоша, смекнув, видимо, что Василю будет трудно передвигаться своим ходом, предложил пойти на колхозный двор за санями. Вся гурьба умчалась вместе с ним, а у плетня осталась одна Даша. Склонилась над Василем:

- Давай помогу тебе встать, а? Ты же замерзнешь.

Василь молчал, лишь слышно было, как он хрипло дышит и откашливается в снег.

Даша попыталась было поднять его и посадить на плетень, но парень не принимал ее заботы, а, словно назло, старался зарыться глубже в снег.

- Бок у меня очень болит, - по-щенячьи скулил он, - и незачем мне подниматься, некуда идти... Напоили, дурака, уломали... Иди, говорят, выведи бычка у Андреихи, пока она не взяла его на ночь в сени. Завтра будет мировая закусь... Не заметит никто - хорошо, а заметит - скажешь, что берешь на заготовки по личному распоряжению председателя сельсовета. Я не хотел идти, да куда там... Мокрут так зыркнул на меня, что лытки похолодели. Мельник сунул в руки вот эту самую шапку и кожух, а Заткла выпроводил на улицу... Так что не уговаривай меня вставать, Даша, - слегка приподняв голову, продолжал Василь. - Все равно мне уже не встать. Если не окачурюсь после всего этого, то сам на себя руки наложу. Послушай лучше, о чем я хочу тебя попросить. Не пиши ты об этом Володе, брату моему. Не простит он мне этого никогда, только волноваться будет. А летчику же, сама знаешь, нельзя волноваться.

- Ладно, Вася, - тихо сказала девушка, - об этом не напишу, раз ты так просишь. А прощения тебе и правда нет и не будет.

X

Назавтра Иванова бабка зашебуршала раньше обычного, и пока Иван встал, оделся, она уже куда-то сбегала впотьмах, что-то даже принесла под полою. Взглянув мимоходом на квартиранта, скрипуче закашлялась от подступившего смеха и доложила о ночном происшествии в Добросельцах:

- Вора схватили, да еще какого!

После этого протопала к своему громоздкому сундуку, на глазах у Ивана дважды дзынькнула внутренним замком и, отвернувшись, сунула ключ в какой-то там потайной кармашек.

Было воскресенье, в сельсовете срочной работы не намечалось, так что Иван надел свое поношенное пальтецо, взял из кочережника палку и пошагал помаленьку в сторону своих Добросельцев. Мороз к утру поупал, ветер утих, день начинался такой, что и весна могла ему позавидовать. Снег мягкий, не

липкий еще, но и не сыпучий. Кажется, возьми его в руку - и не ощутишь холода. Не скользко, и нога не вязнет, как бывает иногда после метели.

"Схожу домой, - думал Иван, - спрошу там, что у них такое приключилось, да на свое подворье загляну".

Когда уже миновал школу и сворачивал к бескрылым мельницам, его кто-то окликнул. Оглянулся и увидел: по улице идет Илья Саввич и делает рукою знаки - обожди, мол. Иван остановился.

- Куда вы так рано? - спросил директор, подавая руку.

- Хотел подойти в Добросельцы, - несколько озадаченный, ответил Иван. А что, здесь есть какие-нибудь дела?

- Да нет, - дружелюбно сказал Илья Саввич. - Мне самому в ту сторону, так что пойдем вместе.

Они пошли бок о бок по никем еще не тронутой дороге. Иван старался шагать споро, чтобы не задерживать более высокого ростом и легкого на ногу директора, а тот в свою очередь незаметно, как будто только для того, чтоб удобнее было разговаривать, придерживал шаг.

- Хочу застать эмтээсовское начальство, - говорил Илья Саввич. - Может, еще не разбежалось, поскольку выходной.

- Кто его знает, - неуверенно ответил Иван. - Очень уж любит зайцев погонять, так что вряд ли усидит дома.

- Это верно, - согласился Илья Саввич. - То за зайцем погнались, то за волком, а на месте не застанешь. Обещали свет дать в школу, так уже в который раз иду. Однажды, правда, застал было директора, да секретарша едва пропустила в кабинет. Электрический звонок у нее под рукой. У меня в школе света нет, зимой ученики и учителя слепят глаза и коптятся при керосиновых лампах, а рядышком у директора МТС электрические кнопки на столе.

- Не бывал я у него в кабинете, - заметил на это Иван, - но слышал, что у него там больше механизации, чем в ремонтной мастерской. Кнопки, звонки, вентиляторы. Наш председатель как-то рассказывал.

- Мокруту все по вкусу, - усмехнулся Илья Саввич.

- Сел однажды в свое поповское кресло, - продолжал Иван, - положил руки на стол и приказал Печке собрать нас всех. Приходим, а он сидит, откинувшись в кресле, и щупает рукою на столе. "Запомните все, - говорит нам, ни на кого не глядя, - больше я не стану рвать горло, чтобы позвать вас, а будет у меня для каждого звонок: для тебя, Печка, один, для тебя, - показывает на меня, два, для тебя, - показывает на финагента, - три и так далее. Договорился с директором МТС - дает мне

электроэнергию".

- Да уж звонков-то он наставил бы, - ничуть не удивился Илья Саввич. Будь возможность, так и секретаршу посадил бы перед дверью.

- А что бы вам как-нибудь зайти к нам на прием? - лукаво улыбнулся Иван. - Только под гримом и в чужой одежде.

- Представляю себе этот прием, - подхватил директор. - Как-то заходила в школу Даша, новые рекомендации принесла. Рассказывала про один такой прием... Кстати, надо бы уже и вам начинать думать насчет вступления в партию, в кандидаты.

- А можно мне, Илья Саввич, вот прямо сейчас подать заявление? Как вы считаете?

- Пожалуй, еще рановато, - с теплом в голосе, но твердо ответил директор. - Вам надо стать поактивнее, научиться ненавидеть любые недостатки в нашей жизни, бороться с ними постоянно и настойчиво.

За разговором не заметили, как оставили позади бескрылые мельницы, как на фоне синеватого утреннего горизонта обозначились деревья на добросельской улице.

- Там вроде бы какой-то переполох был ночью? - не придавая особого значения своим словам, произнес директор.

- И я слыхал, - подтвердил Иван. - Моя бабуля чуть свет новость принесла.

- Эта бабка все знает, - засмеялся директор, - хотя, кажется, никуда и не ходит.

Возможно, о ночном происшествии больше не было бы и разговора, не повстречайся им вдруг на улице тот самый Заткла. Он вышел со своего двора, руки в карманах (двор без ворот, открывать не надо), потянулся, зевнул, посмотрел сперва в один конец улицы, потом - в другой. Видимо, в этот момент для человека решался вопрос, куда бы это пойти, какое выбрать направление, чтобы опохмелиться да положить что-нибудь на зуб, потому что дома хоть шаром покати.

Увидев издали двух мужчин, он сразу повеселел и двинулся им навстречу. Когда же приблизился и узнал идущих, в первую секунду был разочарован - с этими не выгорит, - однако тут же нашел для себя роль. Его немолодое и слегка желтоватое от выпивок, но по-спортивному сухое лицо расплылось в широкой панибратской улыбке, руки сначала заелозили в карманах, потом выбрались оттуда и приветственно потянулись вверх.

- Какая честь, какая честь! - возгласил Заткла, локтем поправляя съехавшую на глаза огромную заячью шапку. - Я первым имею счастье приветствовать вас на нашей улице. - Он размашисто сунул руку сперва директору, а потом Ивану,

заставил их тем самым задержаться и, сразу переменив тон, заговорил о другом: - Слыхали, товарищи?

- О чем? - без интереса спросил директор.

- Это ж только подумать, только подумать!..

Заткла похлопал по карманам своей стеганки, даже пошарил в одном из них, но извлек оттуда только клочок грязной ваты.

- Закурить не найдется?

Илья Саввич достал пачку с папиросами.

- Это же просто... А братцы вы мои! - продолжал возмущаться Заткла и в то же время неспешно тащил из пачки папиросы: одну, потом еще две. - Часто у вас болтают, треплют языками: и тот виноват, и другой. Было даже такое - я человек открытый, - что и на меня пальцем показывали. А тут видите, что делается, видите, откуда рыба начинает гнить? Это же прямо взять да в газету, или я уж и не знаю куда.

- Да в чем дело-то? - уже теряя терпение, повторил Илья Саввич.

- "В чем, в чем"? - чуть ли не с обидой переспросил Заткла. - Будто вы не знаете, кто нынче ночью уволок у Андреихи бычка. Не знаете? Ну так, скажу, извольте...

Хотя и нелегко было поверить этому человеку, хотя брали бы сомнения, поведай эту новость кто-нибудь иной, - тем не менее услышанное ошеломило и директора, и Ивана. Дальше они шли в молчании, потому что не отстававший от них Заткла не давал обменяться мнениями, но мысленно и тот, и другой поражались, как это Василь Печка мог позволить себе такое. Илья Саввич недоумевал, пожалуй, больше, чем Иван. Он помнил Василя еще по школе, ничего такого за хлопцем не замечалось. Неужто его сумели настолько испортить?

Иван более ясно видел слабые стороны Василя, потому что долгое время работал вместе с ним, однако и он чуял, что в этом происшествии есть что-то непонятное.

У своего двора Иван остановился. Илья Саввич попросил его разузнать, как все это вышло. На себя он не рассчитывал, потому что мог задержаться в МТС.

- Будете собираться обратно, - сказал он, - зайдите за мной.

Заткла тоже двинулся было за директором, но потом, видно, передумал: задержался напротив своего двора, сунул руки глубоко в карманы брюк и принялся смачно, выгибая спину, зевать. Наконец надвинул на глаза обвисшую ушанку и подался к хате Кадрилихи.

Ворота в Иванов пустующий двор были плотно прикрыты, проволочный обруч натянут на столбик. Снег как присыпал ночью все перед хатой, так и лежал: нигде ни следа, полная

нетронутость. Даже на дверной щеколде белел тоненький пластик снега. Иван оперся локтями на верхнюю жердь ворот-прясла, та скрипнула и слегка прогнулась, с нее осыпались легкие комки снега. Не хотелось входить во двор, и трудно сказать - почему. Проложишь один-единственный след, а он останется, как бельмо на глазу. Займешься, известное дело, какой ни есть работой и не успеешь повидаться с людьми, расспросить, что там стряслось с Василем. А может, просто страшило одиночество.

Встряхнув ворота так, чтобы и с нижних жердей осыпался снег, Иван до поры отложил посещение родного угла. Двинулся дальше по улице. Андреиха уже возвращалась с фермы, когда он подходил к палисаднику перед ее хатой.

- Зайди, Иванка, ко мне, - предложила хозяйка.

Однако не успели они перекинуться и парой слов, как в хату ввалились Мокрут и Тихоня. Увидев Ивана, Мокрут зло глянул на него, потом размашисто прошелся по хате, выкатил подбородок и - к хозяйке:

- Самогон гонишь?

Андреиха посмотрела на председателя сначала с удивлением, потом ее бледные, в морщинках губы тронула улыбка: у нее, видно, мелькнула надежда, что сосед шутит.

- Да разве я когда гнала? - без малейшей тревоги спросила она. - В жизни не гнала.

- У меня имеется материал! - грозно произнес Мокрут. - Так что давай не это самое... По чистой совести говорю!

Женщина сразу переменилась в лице, потому что уже знала, что такое "материал" на человека.

- Не гнала я самогона! - сказала с обидой и отчаянием в голосе. - Не из чего мне гнать, и приспособления этого нет. Вы не туда пришли, если вам понадобился самогон.

- А куда нам идти прикажешь? - Губы у председателя хищно сжались.

- Сами знаете, кто гонит.

- А кто, ну кто? - Мокрут шагнул к Андреихе с таким видом, будто хотел раздавить ее, маленькую и беспомощную, своим колючим взглядом, головой в хромовой шапке, широкими сутуловатыми плечами. - Кто? Говори!

"Ваша родня", - хотела сказать Андреиха, но не осмелилась, отвела глаза, и ее взгляд нечаянно упал на окно, смотревшее на Митрофанов двор.

- Они, хочешь сказать? - вскричал Мокрут. - Они? Что ж, посмотрим! - И, обернувшись к Тихоне, заговорил с ним доверительно: - Ты понимаешь, мне просто глаза начинает мозолить этот двор. И депутат в доме, и хозяин вроде бы наш

человек. Правда, церковный староста в прошлом, да какое это имеет теперь значение. А тут чуть ли не каждый день у меня новый материал на этих людей. Да вот, слышишь, заявляет человек, что и самогон гонит мой депутат или как ее там... депутатка.

- Я ничего про них не сказала, - испуганно вмешалась Андреиха. - Как вам не совестно? Разве я что-нибудь сказала о них?

- Ладно, давай не будем! - пренебрежительно усмехнувшись, бросил председатель и даже не повернул головы к женщине.

Андреиха хотела было еще что-то сказать, выложить в глаза Мокруту всю свою обиду, но не успела. Тот покосился на нее через плечо и вдруг спросил:

- Слухи пошли, будто у тебя ночью кто-то бычка украл на закуску. Это правда?

- Бычок мой в сенях, - растерялась женщина. - Ночью перевела из хлева.

- Что-о? В сенях? А ну, показывай! - Мокрут поспешно отворил дверь в сени и махнул рукою Тихоне. - Вот и верь людям! Видишь? Стоит себе тут, лысый дьявол, а о нем уже вон какие сплетни пошли. Так, говоришь, никто и не пытался его увести?

Андреиха промолчала.

- Вот это материал! - удовлетворенно воскликнул председатель. - Под суд надо за такой поклеп. Очернить людей, организовать избиение... Ну вот что. Он еще раз покосился на хозяйку. - Обыска у тебя сегодня делать не будем, я там еще разок проверю материал. А лысого этого береги, пусть растет. Если еще кто-нибудь станет спрашивать о нем, расскажешь то, что нам рассказала, если взглянуть захочет - покажи. И не очень-то слушай эту твою соседушку. Де-пу-тат-ку... Хороший бычок, справный. Отменная была бы закусь. Правда?

Заговорщицки глянув на Тихоню, председатель весело рассмеялся, погладил бычка по шее и выпустил из сеней. Уже во дворе задержался, вспомнил об Иване - скорее всего потому, что заметил в оттаявшем окне его озадаченное лицо.

- Иди сюда! - махнул ему рукой.

Иван вышел, поднял на председателя глаза, полные негодования.

- Ты чего тут?

- Да зашел вот по-соседски проведать, поговорить.

- Вот что!.. - протянув по-военному вдоль туловища руки, с угрозой сказал председатель. - Ты тут не очень... Понимаешь? Чтобы никаких сочувствий и лишних слов. А то твоя хозяюшка, этот божий одуванчик, тоже пробавляется самогоном, так как бы

не пришлось отдуваться квартиранту. Понял?

- Вы меня не пугайте! - сказал Иван и решительно шагнул к Мокруту. Тот невольно подался назад.

Стоя в открытой калитке, Тихоня нетерпеливо посматривал на председателя и жевал полными, свежими губами, словно собирался сказать что-то резкое и обидное. Мокрут, не замечая этого, подошел, плечом вытеснил участкового на улицу и так хлопнул калиткой, что снег посыпался не только с ворот, но и с забора. Вышагивая рядом с Тихоней, хотел было завести разговор об этом своем "колченогом начальнике" и на всякий случай кое-что сообщить не в его пользу, но вдруг увидел перед собою Дашу и замер как вкопанный. Девушка шла, должно быть, к соседке, к Андреихе, и потому была одета легко: пуховый шарфик брошен на голову и один раз обернут вокруг шеи. Мокрут подсознательно подумал, что и она должна бы остановиться, однако надежда не сбылась. Девушка как шла быстро, с озабоченным видом, так и миновала их, лишь коротко и торопливо поздоровалась. Ее легкий, летящий шаг сопровождался тихим поскрипываньем снега.

Тихоня пошел дальше, показывая всем своим видом, что не интересуется чужими интимными делами, а Мокрут все стоял как зачарованный и смотрел Даше вслед. Внезапно что-то словно перевернулось у него внутри, куда-то сгинула, пропала злость на Андреиху, на Ивана, стали противны все эти выдумки о каких-то там идиотских материалах, о самогоне, которого Андреиха, конечно же, не гнала. Вот так бы смотреть на конец Дашиного шарфика, обнимающего ее шею, идти за нею и даже ступать в эти маленькие ровные следы. Да... Она прошла, ничего обидного не сказала, даже посмотрела, кажется, без злости, без колючести, а что совсем недавно говорилось о ней? И кем говорилось? Будь это кто-нибудь чужой, посторонний, какой-нибудь недоброжелатель - ладно, а то ведь человек, который не однажды просыпался ночью с мыслью о ней, который ловил себя на том, что для него не существует, пожалуй, никого ближе, чем она. Да пускай бы еще хоть правда была сказана, пускай бы это говорилось во имя добра, во имя справедливости.

Вот она сейчас придет к Андреихе, обо всем узнает. Промолчит Андреиха расскажет Иван. И черт же его принес в это самое время! Вот уж, видно, будет потрясена, вот огорчится от такой неожиданности. Всякое возможно, но чтобы возводить напраслину на близкого, даже любимого человека...

Мокрут глянул в ту сторону, куда пошел Тихоня, однако вовсе не хотелось догонять его. Всеми мыслями он был с Дашей. Подмывало махнуть рукой и на Тихоню, и на всю эту служебную

нелепицу, вернуться в Андреихину хату, упасть на колени перед хозяйкой. И перед Дашей. Чтобы она знала, как горько сейчас у него на душе, чтобы поверила: одно ее слово - и он никогда больше не свернет с прямого, назначенного совестью пути.

"А может, - вдруг подумалось ему, - все это блажь? Может, зажать душу в кулак да пойти домой? Там как-никак жена, уже несколько дней нездоровая и непривычно задумчивая. Сидит, молчит, даже не ругается, не срывает на нем злость, а все что-то порет и сшивает заново. Не так еще и скоро ей рожать, а уже, видно, готовится..."

И чуть было не свернул Мокрут к своему двору, но решимости так и не хватило. Постоял еще с минуту, вяло повернулся, поднял кожаный воротник и двинулся вслед за Тихоней.

XI

Даша вошла в то самое время, когда Андреиха начала рассказывать Ивану о своих ночных тревогах. Но о главном умалчивала, самую суть старательно обходила. Даша тотчас уловила это.

- Вы что, боитесь Ивана? - удивленно спросила она.

- Чего мне бояться, - сказала на это Андреиха. - Свой человек. Вот и говорю, что не спала всю ночь, страхов натерпелась: кто-то в хлев лазил. А кто - лихо его знает.

- Я же вам говорила, кто лазил и зачем.

- А я, сказать по правде, и слышала и не слышала.

- Неужели вы и этим ничего не сказали? - Даша показала на окно, выходящее на улицу.

- А о чем мне было говорить? Мокрут насчет самогона спрашивал.

Тогда Даша принялась рассказывать Ивану все по порядку. Хозяйка, слушая, лишь страдальчески морщилась.

- Да это же черт знает что! - вспыхнул Иван, когда Даша замолчала. Если бы не от тебя слышал, ни за что не поверил бы. Как же это вы, тетка Настуля, а? Почему вы смолчали перед Мокрутом, если все знали? Побоялись?

- Ну и побоялась! - резко ответила Андреиха. - А ты думаешь, нет? Всяк бы на моем месте побоялся. Вы еще не знаете, на что способен этот человек. Она подошла ближе к Даше. - Тебе, пожалуй, тоже не надо бы с ним в драку лезть. Твой отец немало перенес. И скорее всего из-за него.

- Что бы там ни было, - решительно сказала Даша и туже затянула на груди шарфик, - а я Мокруту спуску не дам. Никогда! Когда вижу несправедливость, у меня в сердце кипит и ничего тогда не страшно.

- Молода ты еще, - сумрачно взглянув на девушку, сказала Андреиха. - А встань на мое место... Вот говорит человек - "материалы". А черт его батьку знает, что там у него за материалы! Может, опять что-нибудь...

- Да никаких там материалов! - уверенно заявил Иван. - Это у него уже хвороба такая - запугивать людей. Он и в сельсовете так. А глянешь потом, проверишь - ровным счетом ничего нет.

- Зло человеку причинить - дело не хитрое, - стояла на своем хозяйка. Если у кого-то одно злое на уме, лучше не становиться ему поперек дороги, уступить. Пускай идет, пока сам в какую-нибудь яму не ввалится, шею себе не свернет.

- Заткла спьяну ввалился - помните? - в Кадрилихин колодец, рассмеялась Даша. - Ну и что с того? Очухался, вылез и тут же снова напился. Нет, тетка Настуля, если всякой мрази уступать дорогу, бояться ее, то и жить не стоит. Тогда честному человеку лучше и на свет не родиться.

- Кто его знает, как оно там... - со вздохом заметила хозяйка. - Вот мой Андрей покойный не уступал, как и ты, не любил неправды, колотился весь, когда при нем человека обижали. И едва потом богу душу не отдал из-за этого. А Заткла, раз уж ты его вспомнила, век по правде не жил, и ничего, не жалеет, похоже, что таким уродился. Люди в войну горевали, мучились, а он и тогда ходил себе да посвистывал.

- Больше такому не бывать, - задумчиво произнес Иван, а Даша в поддержку ему стала доказывать хозяйке, что добрых, справедливых людей большинство и потому доброе, хорошее в жизни берет верх.

- Вот и ваш дядька Андрей, - возбужденно закончила она. - Если б не добрые люди, разве он выбрался бы тогда из беды?

- А из-за кого? Из-за кого мы так натерпелись? Знаете? - Андреиха сжала горло руками, голос ее задрожал. - Молчала я, да раз уж зашел разговор скажу вам обоим. Мокрут подал кляузу на Андрея, мы еще тогда об этом знали.

Тетка Настуля еще долго, с подробностями рассказывала про тот давнишний случай, а Даша с Иваном подавленно слушали, больше не перебивали ее, не пытались спорить. Это, конечно, не означало, что они согласились с ее мнением и приняли ее совет остерегаться везде и всюду. Тут невозможно было согласиться. Они молчали от удивления и неожиданности, от душевного сочувствия женщине, перенесшей столько горя. Потом Даша в задумчивости подошла к окну. Стояла без движения, прислонившись щекою к раме, и Ивану подумалось, что она вспоминает далекое прошлое, каким знает его по рассказам разных людей: страдания отца, смерть матери во время

фашистской блокады. О смерти Дашиной матери он и сам мог бы рассказать, потому что это было у него на глазах и слилось с его собственным неизбывным горем. В одно и то же время на том же островке посреди болота похоронили тогда и его мать. К счастью, Андреиха как-то выдержала, осталась в живых. Она и помогла Митрофану спасти его младших: Дашу и Тимошку.

Да мало ли о чем можно сейчас подумать, мало ли что может острой болью ожечь девичью душу? Мокрут - почти что сосед, живет через один двор. Все время относился к ней хорошо, даже отец ничего дурного не говорил о нем. Ну, могла Даша замечать, чувствовать, что он непрочь выпить, что в его натуре накричать на человека, приклеить ему обидную кличку, сочинить злой анекдот, но того, о чем она услышала сегодня от Андреихи, ей никогда и не снилось.

Потом вот Василь. Может, и худо ему, может, и впрямь жить не хочется, а как тут докажешь правду, как спасешь человека от душевных мук и позора? Если Мокрут такой, то уж он постарается выгородить себя. А что такое Василь для Мокрута?..

Иван заметил, что на ее сложенные на подоконнике руки упала слеза. Заметил, как вздрогнула Даша, ощутив на пальцах эту слезу, и направился к двери. Да, ему лучше уйти, а соседки пусть наговорятся по душам, пусть даже выплачутся вместе, если от этого им станет легче. Но Даша задержала его:

- Обожди, Иван, пойдем вместе. Пойдем к Илье Саввичу, расскажем ему всё-всё.

- Пошли, - согласился Иван. - Только я загляну еще к себе, надо там сделать кое-что.

По дороге и уже у себя на подворье Иван все не мог избавиться от навязчивых мыслей о Мокруте, о человеке, с которым вот уже несколько лет вместе работал, которого вроде бы и знал и в то же время совсем не знал. Припомнился случай, происшедший минувшей осенью. Ехали из района, вдвоем. Дорогу развезло, лошадь едва тащилась по грязи. Доехали до мостика и там уже засели совсем - провалились: известно, какие мосты на территории Червонномакского сельсовета. Мокрут велел выпрячь лошадь, сел верхом и поехал в деревню скликать на подмогу людей, а Иван остался стеречь возок и упряжь. До деревни было не так и близко, однако Иван рассчитывал, что если председатель сразу найдет людей, то засветло еще удастся выбраться. Но прошел час, второй, а Мокрута все не было. Парня уже и пробирать стало: с открытого поля тянул свежий ветер и пронизывал осеннее пальтецо, студил колени. Хорошо, солома в возке была. Иван зарылся, насколько мог, в солому и ждет. Уже совсем стемнело, тишина объяла все вокруг, лишь доносился

угрюмый шум недалекого леса да вода печально всхлипывала под колесами. Пригревшись, Иван стал помаленьку задремывать, а там и уснул, видно, потому что даже вздрогнул от неожиданности, когда услыхал незнакомый голос.

- Кто тут? - спрашивал человек.

- Я, - поспешно отозвался Иван.

- Что еще за "я"?

- А-а, это вы, Павел Павлович?

- Вот и узнал. А ты, кажись, Добросельский, не так ли?

- Да-да, Павел Павлович, угадали.

- Вижу, возок вроде Мокрутов, да в темноте черт его разберет. А где же Мокрут?

- Поехал верхом в деревню, - ответил Иван, приподнимаясь на локтях, обещал людей привести, да вот нету.

- Давно уехал?

- Еще до заката, часа четыре тому.

- Так нечего и надеяться, - убежденно сказал Павел Павлович, - до рассвета не жди. У тебя там есть что-нибудь под боком?

- Солома, - ответил Иван и, видя, что инструктор приближается к возку, отодвинулся к самому краю, и выгреб из-под себя большую часть подстила.

- И я уходился нынче, - говорил Павел Павлович, держась на ходу за оглоблю, торчащую из канавы, как зенитка. - Ноги уже не те. Бывало, хаживал, и ездить, правда, приходилось, а теперь - не то. - Он поскользнулся в грязи и едва не сполз в канаву, после чего долго сопел и кряхтел. Иван встал, чтобы помочь ему.

Забравшись в возок, инструктор стащил с себя просторный брезентовый дождевик, приладился на соломе и удовлетворенно вздохнул.

- Хочешь, и тебя дождевиком накрою, - предложил он Ивану, - да отдохнем до утра, а там придумаем что-нибудь. Не придет Мокрут, так и черт его бери, сами как-нибудь справимся с повозкой, это же не грузовик. Я уж тебя не брошу тут одного. Что это в ногах твердое?

- Хомут, - благодарный, ответил Иван.

- Давай его сюда, - попросил Павел Павлович.

Иван передал инструктору хомут, а тот положил его себе под голову и блаженно вытянулся.

- Вот теперь и гостиницы не надо, - сказал он. - Я люблю, когда живой лошадью пахнет. Служил когда-то в кавалерии, так и осталось на всю жизнь. А Мокрута ты не жди, - уже без охоты продолжал Павел Павлович: видно, усталость брала свое. - Ты еще не знаешь, что такое Мокрут? Конечно, где тебе знать. И

Печка, дружок твой, тоже не знает.

После этого инструктор говорил что-то еще про солому, про свой очень сподручный в дороге дождевик, порадовался, что Мокрут увел лошадь, а то пришлось бы делиться с нею соломой, и уснул. Спал он, однако, не долго, возраст, должно быть, сказывался, да и хомут под головою все же не подушка. Повернулся на бок, притих, пытаясь, наверное, снова уснуть, но сон уже отлетел. Какое-то время Павел Павлович молчал, потом заметил, что Иван тоже не спит, и это его озадачило: "Молодой парень и - не спит. С чего бы это он?"

- Может, тебе холодно? - спросил заботливо.

- Да нет, ничего, - ответил Иван. - Хорошо, что хоть сверху не льет.

- Что правда, то правда, - согласился Павел Павлович, - если бы влупил добрый дождь, худо бы пришлось, хоть и под дождевиком. Примечаю, ты вроде как не в своей тарелке: стыдишься, похоже, роли, которую отвел тебе Мокрут. Так или нет? А я тебе скажу на это: если не стеснялся быть за кучера, то чем хуже оказаться в сторожах? И вообще нечего тут стесняться. Надо всегда чувствовать, что ты сам по себе человек, и хранить спокойствие на душе. Я уже давно так живу. Вот ночую сегодня в Мокрутовом возке чуть ли не под мостом, хомут у меня под головой, а я спокоен. Почему я спокоен? Потому что знаю: ничего от этого для меня не прибавится, как ничего и не убавится. Каким был человеком, таким и буду. И вокруг меня ничего не переменится. Спал бы я, скажем, на мягкой перине в доме самого председателя райисполкома было бы то же самое.

Павел Павлович поправил брезентовую одежину на себе и на Иване, подложил руку под небритую щеку и, чувствуя, что парень охотно его слушает, продолжал:

- Я понимаю, что тебе нелегко быть таким, хотя вот этого спокойствия у тебя, пожалуй, тоже в избытке. В молодости я был иным. Да что в молодости! Еще пяток лет тому назад у меня была совсем другая натура. Вот как у этой вашей депутатки. Как ее?..

- У Даши, - подсказал Иван.

- Да-да, у Даши. Замечу, бывало, где-нибудь непорядок, жить не могу, пока не вмешаюсь. А я ведь был когда-то и председателем райисполкома, и в области работал. Да... А теперь вот только записную книжку при себе ношу. Если очень уж припечет, то достану, запишу. - Инструктор заерзал, ощупал свободной рукой боковой карман. - Где же она? Ага, на месте, - и снова заговорил, как будто рассуждая вслух: - Ты думаешь, я не знаю, не вижу насквозь вашего Мокрута? Знаю, вижу, но, признаться тебе, смотрю вполглаза на все это. И вас обоих знаю, -

улыбнулся чему-то Павел Павлович. - И тебя, и Печку. Помните, как с месяц тому назад вы ждали председателя облисполкома? Печка всю ночь драил полы в сельсовете, ты носил воду. Раздобыли где-то ковровую дорожку, постлали в Мокрутовом кабинете, и Печка день и ночь стерег, чтобы не украли. Мокрут выдал старому конюху сапоги, чтобы не стыдно было выехать с ним, если начальство пожелает прокатиться в санках. Не мог он тебя посадить за кучера: а что как начальство не одобрит? Надел конюх новую обувку, два дня поносил, а потом, когда выяснилось, что председатель облисполкома не приедет, Мокрут отнял у деда сапоги. Я тогда тайком наблюдал за вами и посмеивался. Печка даже штаны продрал, шаруя половицы. А председатель облисполкома и не собирался ехать сюда, это я сам пустил такой слушок.

Павел Павлович еще долго бубнил что-то под брезентом, а потом внезапно уснул. Иван хотел верить всему, что слышал от этого пожилого человека, но подчас закрадывались и сомнения: неужели все это правда, что он говорил о Мокруте? Об истории с сапогами для конюха Ивану почему-то ничего не было известно.

Сомнения и разлад в мыслях не оставляли его и после, жили они, считай, до сегодняшнего дня, до недавнего разговора с Андреихой. Потому, возможно, и вспомнилась сейчас та ночевка с Павлом Павловичем. Теперь Лявон Мокрут предстал перед ним человеком малопонятным, скорее всего ничтожным, хотя это и не вязалось с его таким авторитетным подбородком и внушительным голосом. Страшно было подумать, как это он, Иван, завтра войдет в сельсовет, встретится с ним да еще станет исполнять его приказы.

Было горько за себя, а хуже того - за Василя Печку, у которого никогда и не шевельнулось в голове, что можно ослушаться Мокрута. Сам он, начальник военноучетного стола, все же иногда оставлял без последствий строгие председательские приказы: не ходил пилить дрова его благоверной. Это слегка оправдывало его в собственных глазах, однако не избавляло от страданий самолюбия. Иван слонялся по своему саду, мерял глубокий снег, не отдавая себе отчета, зачем он это делает. Отсюда хорошо был виден новый дом Шулова, желтенький, как из воска. У крыльца возвышалась стопа вложенных одно в другое цинковых корыт. Председатель колхоза собрался перекрывать свои хоромы: снимет обычную жесть и положит оцинкованную. Сколько стоили колхозу эти корыта?

Ивана вдруг потянуло выйти на улицу, разыскать в Добросельцах Шулова и в глаза задать ему этот вопрос. Но над забором показалась заячья шапка Затклы, и он остановился перед

калиткой. Не хотелось встречаться с этим типом. Привяжется - не отбиться от него допоздна. Если нет никаких новостей, то станет рассказывать свою, на его взгляд весьма необычную биографию: сколько раз был женат и почему сейчас у него нет ни жены, ни детей, лишь престарелая теща стонет на печи.

"Пусть ищет Мокрута, - подумал Иван. - Может, тот выслушает его биографию".

Иван возвратился в сад, вспомнив, что надо осмотреть прошлогодние прививки, получше их обвязать, чтобы не погрызли зайцы. Осмотреть и - к Илье Саввичу, а то Даша, чего доброго, не дождется, побежит одна. Может быть и такое, что Андреиха пойдет с нею.

Под старой грушей стоит улей-колода. Чуть не наполовину он занесен снегом. Иван задерживается перед этим ульем, неожиданно задает себе вопрос: есть в нем сейчас пчелы или нет? Может, отсыпались от мороза? Он становится на колени, прикладывает ухо к заткнутому соломой летку. Ничего, конечно, не услышишь зимой, но ему кажется, что пчелы там, внутри, безостановочно снуют, греют друг дружку. Вспомнилось, как покойный отец вот так же становился перед этим ульем на колени, только не зимой, а летом, перед медосбором. Он каждый раз перед этим старательно мылся, надевал чистую рубаху и был всегда так оживлен, что смотрел бы да смотрел на него. Иван наблюдал за отцом издали, подойти боялся - могли искусать пчелы. С первой подрезки отец приносил ему светлый квадратик свежего пахучего меда. Мальчик касался его губами, и казалось, что все вокруг оглашается песней, а солнце над старой уже тогда грушей вспыхивает золотом.

Над грушей и сейчас стояло солнце.

XII

С малолетства Василь Печка был хлипковат здоровьем, хотя и вертляв, непоседлив. Не очень-то вылюднел и с годами, из-за чего не пошел учиться дальше после десятилетки и не был призван в армию. Лявон Мокрут, как человек приметчивый на нужных ему людей, заметил в парне прежде всего услужливость, готовность выполнить все, что ему ни скажи, затем - старательность во всяком деле, отменный почерк и еще кое-какие ценные качества. И действительно, работал Василь на совесть. Изо дня в день пешком обходил полсельсовета, был у Мокрута не только секретарем, но и курьером, исполнял всякие личные поручения. В последнее время он особенно много бегал по деревням, по поселкам, подгонял всевозможные дела, сглаживал то, что было не совсем гладко, потому что приближалась сессия, на которой Мокруту предстояло отчитываться перед избирателями. Сама-то

сессия еще полбеды, Мокрут рассчитывал провести ее без сучка без задоринки. Но на эту сессию может, как гром с неба, свалиться районное начальство, а раз так, то лучше покрутиться, все предусмотреть. Василь туда, Василь сюда! Печка, сделай опись, Печка, устрой по "сто граммов"! Беготни у секретаря дальше некуда, а тут еще и выпить доводится чуть не каждый день. Иной раз Василь и рад бы отказаться или взять только для приличия, не полную мерку. Но что скажет на это Мокрут? Кому, извините, охота выглядеть слабаком? К тому же и привычка уже, считай, выработалась.

Так растратил парень и те силы, что у него еще оставались. Какому-нибудь бугаю, да еще нетрезвому, нипочем были бы тычки да поздатыльники, которыми наделила Василя Тимошина компания в ту нелепую ночь. Сошел бы с рук тому бугаю и не такой уж длительный отдых в снегу. А вот секретарю Червонномакского сельсовета все это обошлось дорого. Ну, дали ему по шее раз-другой, полежал, разогревшись, в снегу, пока хлопцы приволокли сани, - не это главное. Главное - передрожал человек, пережег нервы. И не встал после этого, заболел.

Даша каждый день расспрашивала про Василя, почти каждый день собиралась с духом, чтобы зайти к Печкам домой, но все как-то откладывала, хотя и с болью в душе. Нелегко было решиться на такое посещение. Ни разу в жизни она не была у Печек, никогда близко не сталкивалась со старой Аксиньей, матерью Василя, только слышала, что она женщина крутая, очень острая на язык и не раз пробирала Володю за то, что отмахивался и от своих, и от городских девчат, а снюхался с какой-то телятницей.

Обидно было думать об этом, однако ради справедливости, ради настоящей человеческой дружбы девушка отважилась-таки пойти в Червонные Маки. Вышла чуть свет, сразу после того, как мало-мальски управилась на ферме. В Червонных Маках еще только дымы валили из труб и дети бежали в школу, когда она подходила к Печкиному двору. Еще с улицы заметила, что Аксиньи дома нет: дверь в сени закрыта на вертушку снаружи и со двора ведет свежий след. Хотела было вернуться, а потом случайно глянула на трубу и увидела, что из нее цедится тощий дымок. "Вьюшка не закрыта, - подумала Даша, - значит, хозяйка где-то поблизости".

И впрямь, Аксинья вскоре вышла с соседнего двора и, осторожно ступая по скользкой тропке, направилась к своей хате. В руках у нее было по большому ведру, до краешков наполненных водой.

Девушка пошла ей навстречу.

- Давайте я вам помогу, - сказала бодренько и протянула руку к дужке одного из ведер.

- Не надо... я сама... - в промежутках между словами переводя дух, заговорила женщина. - Это ж... колодец замерз... в те морозы, что были... Да и снегом замело... А расчистить некому... Одна осталась... - Она только теперь на секунду оторвала взгляд от тропки и осмотрела Дашу. - А вы чьи же это будете? - спросила доброжелательно. - Что-то не знаю.

- Да я не здешняя, - ощущая тревогу, ответила Даша. - Я из Добросельцев.

- Из Добросельцев? - словно не веря, переспросила женщина. - А чья все же?

- Митрофанова, - приближая трудную минуту, не ушла от ответа Даша. - Я пришла проведать вашего Василя.

Аксинья поставила ведра на снег, глубоко втянула в себя воздух и, как из решета, сыпанула злыми и обидными для Даши словами:

- Спасибочки тебе, спасибочки, что уважила... Накормила хлопца тумаками, теперь можно и проведать... Еще бы... Рады мы, очень рады тебя видеть... Едва дождались... Вот и Володя пришлет тебе благодарность за брата... Само собой...

- Да что вы... что вы такое говорите? - в отчаянье перебила ее Даша. Тетка Аксинья, это же все неправда. Я хотела вам рассказать, как все было. Я спасала Василя...

- "Спаса-а-ала"... - иронически повторила Аксинья. - Как же это ты спасала? Тем, что хоть не била сама? Только твой братик бил под твою команду? Мокрут был у меня, все рассказал.

"Мокрут во всем и виноват", - хотела сказать Даша, но Аксинья замахала на нее руками, слушать, мол, не хочу, заплакала и с нервной поспешностью схватилась за ведра.

- Нет уже Василя дома, - сквозь слезы сказала она, входя во двор. Нету. Вчера утром в больницу отвезли.

- Правда?! - Даша метнулась вслед за теткой Аксиньей, но та с нарочитым проворством откинула вертушку, перенесла через порог ведра и заперла за собой дверь.

Со жгучей обидой в сердце Даша сошла с посыпанных золою ступенек. Невольна посмотрела на улицу: не идет ли кто-нибудь, не видит ли ее позора, ее мучительного, несправедливого унижения? Подвернись еще какая-нибудь тропка, по которой можно было бы попасть домой, не выходя на улицу, Даша наверное пошла бы по ней. Пускай через леса, через болота, только бы людей не встречать, не показываться никому на глаза. Такого горького, беспомощного чувства она, кажется, никогда еще не испытывала.

Кутая в шерстяной платок лицо, не своими ногами дошла до ворот, потом вернулась, постояла у колодца. Низкий и перекосившийся срубик оброс льдом и изнутри был чуть ли не полностью замурован наморозью. Оставалось только круглое отверстие: ведру не пролезть. Медленным взглядом окинула двор. Ну хоть бы что-нибудь попалось на глаза: лопата, топор, ломик. Ничего! Походило на то, что и полена дров на усадьбе не найдется. Ходит, видимо, Аксинья, выпрашивает, тем и живет.

"Два сына у матери, - горестно подумала Даша. - Одного давно нет дома, а второму все недосуг помочь что-нибудь сделать по хозяйству. Нелегко ей живется, а тут еще этот нелепый, дурацкий случай".

Даше вдруг сделалось жаль Аксинью, и обида на нее стала понемногу отпускать. Другая на ее месте еще не того наговорила бы. Она, пожалуй, от досады злится, а сердцем чует правду, видно же, и Василь слово-другое сказал.

Вышла на улицу и уже без робости подумала, что нечего ей избегать людских взглядов. Если бы добрый человек повстречался, то и пусть. Можно было бы даже поговорить, поделиться тем, что на душе. Можно даже зайти в сельсовет. Мокрута так рано не будет, а Иван такой хлопец, что все поймет. Если же подвернется Мокрут, то и с ним надо поговорить, только не так, как с Иваном, не в том тоне.

Иван действительно был уже на работе. Когда Даша вошла в его каморку, он что-то читал в большом синем блокноте, изрядно потрепанном, видно, оттого, что его носили не в портфеле.

- Послушай, что тут написано, - без предисловий начал он, едва Даша поздоровалась и подсела к столу. - Вот... "Если человек не видит и не замечает вокруг себя других людей, стало быть, и сам он уже не человек, а тем более не советский работник. Князек и собака в Червонномакском сельсовете". - Иван довольно засмеялся. - Здорово, а? Слушай дальше: "Есть такие вещи, о которых уже нельзя молчать. Сердце не выдерживает".

- А чей это блокнот? - с интересом спросила Даша. По слогу она почувствовала, что писал не Иван.

- Не блокнот, а знаменитая записная книжка, - словно подзадоривая Дашу, ответил Иван. - Тут много любопытного и полезного записано. Забыл вот у меня Павел Павлович. Скоро, видно, хватится, прибежит.

- А кто тебе дал право читать чужие записные книжки? - с легким, немного даже шутливым упреком спросила Даша.

- Павел Павлович не обидится, - ответил Иван. - Тем более что я уже давно знаю о его записях, он сам мне говорил.

"Вот бы с кем посоветоваться", - мелькнуло у Даши в голове,

и, еще ничего не решив, она спросила, где сейчас Павел Павлович.

- Точно не знаю, - ответил, подумав, Иван, - но, по моим прикидкам, - в школе, у Ильи Саввича. Вчера они целый вечер сидели в директорском кабинете, о чем-то толковали. А ночевать Павел Павлович пришел сюда.

- Что ж ты его к себе не пригласил?

- Я приглашал, - принялся оправдываться Иван. - Еще как упрашивал. И директор тащил его к себе. Они тут оба заходили. Да разве этот человек послушается? Выдумал, что ему надо писать всю ночь, и остался в моем, с позволения сказать, кабинете. Писал, вижу, - тут мои чернила, но не всю же ночь.

- Хорошо там у него сказано, - задумчиво проговорила Даша, - да только чуть-чуть поздновато. Верно, нельзя молчать, но уже и вчера нельзя было молчать, и позавчера. Оттого у нас и творится всякое, что некоторые очень уж любили молчать.

Иван словно в испуге взглянул на девушку, и его большие, заметно оттопыренные уши покраснели.

- Я не только о тебе говорю, - заметив это, продолжала Даша. - Я и про своего отца это скажу, и про Андреиху. Одни из вас очень уж боялись посмотреть правде в глаза, другие не хотели лишиться спокойного сна, ждали, чтобы кто-то другой пришел и все за них сделал. А зло, если не отрезать ему дорогу, не ждет. Оно подкрадется к каждому и не даст ему сладко спать. Это и мой батька начинает уже понимать, да все еще Михася из города ждет, мне не всегда верит.

- Ну я-то ничего не ждал, - открыто и прямо начал Иван, - и не сказать, чтобы особо боялся. Я просто многого не понимал. Мне казалось, что мое мнение никому не интересно, что все уже давно знают то, что знаю я. Хотя, если по совести, то я не раз говорил тому же Василю, что негоже так выслуживаться перед Мокрутом, что у каждого должно быть самолюбие. Не послушал меня Василь, значит, я плохо говорил.

- Кто его знает, - вздохнув, сказала Даша. - Может, ты плохо говорил, может, Василь плохо слушал. Очень и я за него беспокоюсь. Не знала я его, не понимала. Жил себе секретарь сельсовета, бегал с картонной папочкой по деревням, и думалось, что все идет как надо. А мне еще Володя как-то жаловался на него: матери не слушается, выпивает часто.

Даша нахмурилась при этих словах, опустила голову, и Иван, словно почуяв, что на нее могут найти горькие воспоминания, попытался направить разговор в более веселое русло.

- На днях был у меня Семен Козырек, - сдержанно улыбнувшись, заговорил он. - Хохотал тут, вспоминая, как Мокрут

с Василем у него младенца записывали. Проведали, что хозяин зарезал теленка в честь новорожденного, явились с папкой, с бланками. Выпили, известное дело, в охотку, закусили, а через день "обнаружили", что будто бы не те бланки заполнили. Опять пришли, опять выпили, закусили...

- И Тихоня с ними? - немного оживившись, спросила Даша.

- Нет, - покачал головой Иван, - Тихоня только первый раз был, а больше не пошел. Наш финагент его заменил. У этого нюх что надо.

- А где же сегодня Мокрут? - вдруг оглянулась на входную дверь Даша. Или он так рано в сельсовете не бывает?

- Иногда бывает, - сказал Иван, - но сегодня, видно, поехал зачем-то в район. Собирался вчера, гонял тут финагента.

- Слушай, Иван! - Даша встала, хотела было пройтись по комнатке, но тут нельзя было ступить и двух шагов: огромный стол и две табуретки занимали всю площадь. - Мне пора идти, а я еще о главном у тебя не спросила. Скажи, ты заходил после этого происшествия к Печкам, виделся с Василем?

- Каждый день заходил, - поспешно ответил Иван. - Вот и вчера был, даже помогал Аксинье собирать его в больницу.

- А я и не знала, что Василь в больнице. Только вот недавно услышала.

- Ты заходила туда? - только сейчас, видимо, догадавшись, что так рано привело Дашу в Червонные Маки, живо спросил Иван. - Что тебе сказали?

- Что сказали? Просто не пустили в дом, - глухо произнесла Даша. Потом села на табуретку и заплакала. Вздрагивали ее опущенные плечи и руки, крест-накрест сложенные над головою, дрожала вышитая голубыми петушками варежка, которую девушка держала в руке. Иван смотрел на Дашу и не знал, что сказать, как ее утешить. Он понимал ее состояние, понимал сложность и запутанность положения, в котором она оказалась, но не мог в эту минуту найти нужные слова, спасительное решение. Мать Василя, конечно, погорячилась, не пустив ее в дом. Обидела и жестоко оскорбила девушку, которая скорее всего будет ее невесткой. Мать напишет Володе, изложит все так, как сама понимает. И Володя, не зная, как и что было, может поверить матери. А Даша любит Володю. Крепко любит и ждет. Это, так сказать, один оборот дела. А возможен и другой: если все так оставить, если Василь промолчит, другие промолчат, то Мокрут обвинит Дашу в покушении на жизнь человека и таким образом опять выйдет победителем.

- К ней Мокрут заходил? - тихо спросил Иван. - Не говорила она?

- Заходил, - вытирая варежкой слезы, ответила девушка. - От него все и пошло.

- Знаешь что? - воспрянул вдруг духом Иван. - Пойдем-ка к ней с тобой вместе. Меня она не посмеет не пустить. Я передам ей, что мне говорил Василь еще до того, как впал в горячку, расскажу, что другие хлопцы говорили. Пошли!

- Нет, я уж не пойду, - раздумчиво ответила Даша, - мне неловко. А ты, Иван, сходи, очень тебя прошу. И не только сегодня, а каждый день заходи тебе тут ближе. Надо помочь тетке Аксинье, старенькая она уже, слабая и осталась совсем одна. У нее даже колодец не прочищен, ходит, бедная, к соседям по воду.

- Непременно все сделаю, - твердо пообещал Иван. В глазах у него светилась радость от того, что у Даши хоть немного отлегло от сердца. - Я расскажу Аксинье всю правду, я сумею ее убедить. И помогать ей буду каждый день. Я всем расскажу правду, не одной Аксинье!

Выйдя из сельсовета, Даша заторопилась: она уже твердо решила, что сегодня же сходит в районную больницу. Надо вот только побывать дома да утрясти кое-что на ферме. Все ее мысли были о Василе: как она с ним встретится, как заговорит, может быть, попросит, чтобы он сам написал Володе. Если не сейчас, то когда поправится. Шла серединой улицы и не очень-то смотрела по сторонам. Вдруг услыхала вроде бы знакомый голос:

- Добрый день вам, доченька!

Повернула голову и увидела на тропке у забора бабульку: та, оперевшись на посошок, приветливо смотрела на нее и кивала головой - кланялась.

- Здравствуйте! - ответила Даша, узнав бабульку, которая не так давно была в сельсовете, и подошла к ней. - Куда же это вы с утра пораньше?

- Да в сельсовет, милая, - поспешила с ответом та. И голос, и выражение старческого, слегка подмоложенного морозом личика были такими добрыми, такими умиленными, словно она повстречала родного человека. - Наказали, чтоб зашла. Спасибо вам, доченька, что заступились за меня тогда и что наведались на наш поселок. Сняли с меня тот налог да вот и лесу, спасибо им, дали, хату подлатать. А то ж хата у нас, сами вы видели: подруба сгнили, а под окнами только ткни пальцем... А потолок да пол... А крыша...

- Видела я, все видела, - улыбнувшись, заверила Даша. - Потому и написала в райисполком, чтобы вам отпустили леса. Вот еще помочь бы вам его вывезти. Я поговорю с вашим председателем колхоза.

- Спасибо вам, спасибо, - зачастила бабулька, закивала

головой. - Дай вам бог...

- Не за что благодарить, - даже смутилась Даша. - Я рада, что удалось хоть немного помочь. На то меня люди и выбирали.

- Спасибо вам, - еще раз повторила бабулька. - А куда ж вы это так спешили? Домой?

- Ага, домой, - ответила Даша. - А потом еще в район сегодня пойду.

- Тогда не буду больше у вас время отнимать, - отступила к забору бабулька. - Идите на здоровьечко. Передайте поклон вашему отцу, Митрофану. Он должен помнить меня, ведь когда-то, когда молодыми были... А может, Настулю увидите, жену покойного Андрея, так и ей передайте поклон. Это ж ее мужик покойный и мой, царство ему небесное, были когда-то сватами. И сыны наши вместе служили. А если Платона доведется встретить, то это же крестный моего покойного Миколы, старшего сына. А если...

- Хорошо, хорошо, - охотно пообещала Даша. Она и не могла больше медлить, и не хотела обидеть старушку. - Большое спасибо, всех повидаю и всем передам ваш поклон.

Бабулька уже прошла было с десяток шагов, как вдруг опять остановилась, воткнула посошок в снег рядом с тропкой и обернулась в ту сторону, куда уходила Даша.

- Слышите, доченька! - уже почти прокричала она, потому что Даша была далековато. - Приходите как-нибудь в воскресенье к нам в гости. Ей-право. Вот хоть и в это воскресенье, в ближайшее. Рады вам будем. У меня, вы же знаете, дочь такая же, как вы. Эх, были бы живы мои сыночки!..

- Спасибо вам, спасибо!..

Даша не знала, что еще сказать, как выразить свои чувства. Она была безмерно рада этой встрече, была готова расцеловать бабульку за ее открытую душу, за сердечную теплоту. Шла и прикидывала, что времени у нее уже в обрез, что трудно будет успеть в район, однако не каялась, что постояла, поговорила с этим милым человеком. Как-то светлее стало на душе от непредвиденной встречи, и хоть, пожалуй, ненадолго, но отхлынула от сердца та гнетущая тоска, что грызла в последние дни.

Скорее, скорее надо идти!

XIII

Легкий утренний морозец совсем отпустил, кое-где даже со стрех капало, когда Даша выходила из Добросельцев. На большаке, укатанном санями и машинами, было до того скользко, что невольно надо было замедлять шаг. Пока девушка одолела большую часть дороги, перевалило за полдень, а уже перед самым

местечком ей повстречался Мокрут, возвращавшийся из райцентра. Увидев Дашу, он тронул за плечо финагента, сидевшего в передке и правившего лошадью, свесил с возка одну ногу. Финагент натянул вожжи, и Мокрут слез, подошел к Даше.

- Куда собралась? В район?

- Известно, в район, - ответила Даша. - Куда ж еще?

- Ну, там дальше еще винзавод есть, - снисходительно усмехнулся председатель и, как видно, остался доволен своею шуткой.

- А ты, похоже, оттуда? - сдержанно заметила Даша.

Мокрут захохотал и сделал знак финагенту, чтобы разворачивался.

- Давай и я малость пройдусь с тобой, - предложил девушке, - а не то подвезу, если хочешь, назад вместе поедем.

- Спасибо, - сухо сказала Даша, - я сама дойду.

Она прибавила шагу, но Мокрут все же топотал сапогами рядом, а немного поодаль ехал финагент.

- Я не понимаю тебя, Даша, - изображая лицом самую искреннюю обиду, начал председатель. - Чего ты так прогневалась на меня, возненавидела, разносишь всякие слухи на мой счет по сельсовету?

- Какие еще слухи?

- Ну хотя бы про этого Печку. Разве это я вынудил его пойти взять у Андреихи бычка? Разве это...

- Не взять, а украсть, - перебила его Даша. - И не слухи разношу, а говорю всюду громко и скажу еще громче. Мне сам Василь во всем признался.

- Интересно, что бы ты сама сказала, если б тебя так отделали? рассмеялся Мокрут. - На родного батьку после такого можно чего хочешь наговорить.

- Он и после рассказывал, когда лежал дома. Люди слышали.

- Но это же вранье! - решительно выговорил председатель, разводя перед собою руками. - И вообще не было никакого воровства. Сама Андреиха это признаёт.

- Андреиху ты запугал, - открыто и жестко глядя Мокруту в глаза, сказала Даша. - Но не думай, что она всю жизнь будет дрожать перед тобой. Сегодня у нее был следователь, и она рассказала ему всю правду.

- Вот оно что! - В глазах у Мокрута заплясали насмешливые искорки. Значит, уже подучила. С сивым молодоженом заодно. Ну что ж, учи, учи! Посмотрим, что из этого выйдет.

- Ее не надо учить, - сказала Даша. - Она горем научена. Придет время скажет и еще кое-что.

- Ты на что это намекаешь?

- Сам знаешь.

- Ну вот что! - встряхнув подбородком, повысил голос председатель. - На все это мне наплевать. И на твои намеки, и на твоего следователя! Скажу так: хочешь жить со мною в мире, работать, как положено депутату, - давай работать. Нам ни к чему ссориться, нам надо вместе укреплять свой сельсовет. Если же ты выбрала другую дорожку, то говорю по совести - берегись! В порошок сотру, если до того дойдет. Батьку твоего, этого поповского прислужника, в свое время пожалел, а тебя не пожалею, хотя ты и была мне очень дорога, очень близким человеком была. На директора школы надеешься? Зря! Не такие становились мне поперек пути и то не устояли.

- Не стращай, - спокойно проговорила Даша, но в голосе ее было столько твердости и силы, что Мокрут невольно вздрогнул, покосился на нее. - Отец мой немало перенес из-за тебя, хотя ни в чем и не был виноват. Да разве один отец? Раньше я не знала всего. Но имей в виду, ни над Ильей Саввичем, ни надо мной тебе не удастся так поизмываться, как измывался над другими. С нами все-все! А у тебя вот только... - Она показала на финагента, ехавшего в отдалении. - Да и то еще бабушка надвое гадала: может, и он когда-нибудь поймет, что ты за человек.

- Кто эти ваши "все-все"? - попытался усмехнуться Мокрут, но вместо этого лишь горько скривился. - Печка? Андреиха? Повторяю, - в голосе у него вдруг пробилась зловещая хрипотца, - плевать я хотел на все это! Идешь к деверьку своему выуживать на меня всякую брехню? Нет уже твоего деверька. Понимаешь? Нет Васи Печки! Отдал сегодня ночью концы! Можешь написать в часть твоему нареченному, что из-за тебя погиб его родной брат. Ну, а я, пожалуй, тоже кое-куда напишу. До свиданьица, соседушка! Не обходи моего двора!

Он круто повернулся и пошел навстречу подводе.

"Вот почему он так расхрабрился! - Даша стояла, окаменев. - Неужели это правда? - Она через силу обернулась, посмотрела вслед Мокруту. Широкие сутулые плечи, обтянутые хромом, ходили как-то не в такт размашистому шагу, в хроме отражалось зимнее солнце. - Нет, Мокрут не соврал, - рассуждала девушка сама с собой. - Он рад схватиться за правду, которая способна убить человека. Тут он не соврал. Что же теперь делать? Что скажет тетка Аксинья, что подумает Володя, когда ему напишут?.."

Сильно защемило под сердцем, в голове возник какой-то обморочный, отдающий болью шум. Подумалось, что надо сейчас же возвращаться, пойти к Илье Саввичу и высказать, выплакать ему все. Но потом, еще немного постояв, справившись с собою,

все же пошла в больницу. Шла долго-долго.

XIV

Общий на две деревни погост был куда ближе от Добросельцев, чем от Червонных Маков. Обычно добросельские просто относили своих покойников на погост, а соседи всегда возили, потому что отнести, хоть и в пять смен, было трудновато. Когда Даша с Андреихой пришли на погост, там еще никого не было, лишь ближе к центру меж двух березок желтел холмик свежего песка. Они прошли дальше с тем, чтобы, если не встретят процессию, постоять у Печкиной хаты до выноса покойного.

Но далеко идти не пришлось: на дороге показалась грузовая машина, двигавшаяся на самом малом ходу. Слышно было, как непривычный к такой езде мотор постреливал и чихал. На бортах сидело несколько женщин, а за машиной шло много народу из обеих деревень. Машина приближалась к тем самым бескрылым мельницам. Даша с Андреихой сошли на тропинку, что вела к мельницам, и стали ждать. Машина, как назло, на подъеме заглохла. Шофер вылез из кабины с заводной ручкой, виновато посмотрел на заплаканных женщин, сидящих на бортах, и суетливо принялся запихивать ручку в отверстие под радиатором. В это самое время Даша внезапно заметила Володю. Она схватилась за Андреихин рукав и едва не повисла у нее на плече. Лицо у нее побледнело, руки била нервная дрожь. Она не знала, что Володя приехал на похороны.

- Успокойся, Дашенька, - сообразив, в чем дело, зашептала Андреиха и прижала к себе локтем ее руки. - Успокойся, все будет хорошо. Я сама с ним поговорю.

Володя стоял у опущенного заднего борта, без шапки, в шинели с курсантскими погонами. Лицом он был очень похож на брата - такой же светлый, круглощекий, только черты были резче и выражали большую взрослость и вдумчивость. Он стоял неподвижно, не переминался с ноги на ногу, как некоторые, не прятал в воротник уши, а летчицкую шапку держал на левой руке у пояса. Даша и увидела сперва его ухо, маленькое, красное от мороза, прикрытое прядкой светлых волос. Когда-то она видела его совсем близко, у самого лица, у самых глаз... А сейчас ему, наверное, холодно, потому что и от ветра не укрыться, и мороз прижимает не на шутку...

Володя чуть-чуть повернул голову в сторону мельниц. Даша разглядела слезы у него на глазах и какую-то незнакомую ей суровость во взгляде. Еще немного, и он увидел бы ее. Сердце у Даши оборвалось, почему-то страшно было встретиться сейчас с ним глаза в глаза. Кто знает, какой был бы у него взгляд, что отразилось бы в его глазах?..

Машина затряслась, затарахтела, и шофер со всех ног бросился в кабину. Для Даши очень затянулись эти последние секунды. Неловко было торчать в стороне, неловко было и подойти: тропинка выводила прямо к машине, к передним рядам шествия. Когда машина тронулась и люди пришли в движение, Даша вслед за Андреихой присоединилась к идущим. Так и держалась позади всех, то прибавляя шагу, то почти останавливаясь: шофер никак не мог приноровиться вести машину на одной скорости. Видно, ему впервой было везти человека в последний путь.

Впереди Даши шел, чуть не натыкаясь на людские спины, когда машина притормаживала, Иван Добросельский. Именно потому, что он, похоже, ничего не видел перед собою, она решила, что Иван плачет.

- Иван! - окликнула тихонько.

Он обернулся, торопливо вытер покрасневшие глаза и выждал, чтобы пойти рядом. Шагах в двух впереди шли с непокрытыми головами несколько парней из тех, что в ту памятную ночь устроили погоню за Василем. Среди них и Тимоша.

Когда процессия уже приближалась к погосту, навстречу ей прошла полуторка, в кузове которой стоял большой дощатый ящик со щелями по бокам. Из одной такой щели торчал розовый пятачок свиного рыла. В кабине восседал Шулов. Поравнявшись с гробом, он снял шапку и принял скорбно-набожный вид.

"Повез в город боровка, - подумала Даша и бегло переглянулась с теткой Настулей. - Видно, и двух недель не продержал на собственных харчах. А надо было его раньше турнуть с фермы".

Мокрут, хмуро выступавший впереди всех, вытянул поверх поднятого воротника шею, свернул набок гладкий подбородок и с откровенной завистью, к которой была примешана ненависть, посмотрел вслед полуторке. Оглянулся в этот момент и Илья Саввич: должно быть, его навела на какие-то мысли встреча двух столь разных машин. Увидел Дашу с Андреихой. Хотя Андреиху он знал мало, однако сдержанно поклонился обеим. Седая голова его маячила потом над остальными до тех пор, пока Василя не похоронили. Только после этого директор надел свою рыжую, видавшую виды кубанку.

Расходились кто куда: кто в Червонные Маки, кто в Добросельцы. Уже перед самой развилкой Илья Саввич поравнялся с Дашей. Андреихи поблизости не было: она осталась у могилы и все смотрела, как Володя безмолвно, даже без слез, по-мужски прощается с братом. И тут перед нею возник, грозовой

тучей надвинулся Лявон Мокрут. Уставился на нее таким страшным, испепеляющим взглядом, что впору было на колени пасть перед ним. Однако тетка Настуля встретила этот взгляд спокойно, твердо и даже не стронулась с места, чтобы уступить председателю дорогу. Мокрут смерил ее с ног до головы и, приняв на шаг влево, прошел мимо.

- Завтра у нас партийное собрание, - сказал Даше Илья Саввич, с неприязнью проводив глазами Мокрута. - Будем разбираться кое в каких делишках. Вот и об этом товарище потолкуем. Приходите.

- Приду, Илья Саввич, - кивнула Даша. - Я еще вчера собиралась зайти к вам, да не успела - срочно вызвали в район.

- Чего? - недоуменно спросил Илья Саввич, и лицо его сделалось страдальчески-озабоченным.

- Мокрут заявил, что Печка погиб из-за меня.

- Вот как повернул, негодяй! - возмущенно произнес Илья Саввич. Затем, подумав, добавил: - Вы, значит, приходите завтра под вечер на собрание, а я с самого утра съезжу к секретарю райкома. Не волнуйтесь особо, не огорчайтесь. И еще вот что: к отчетной сессии надо как следует подготовиться, поговорить с людьми. Чтобы никто не боялся сказать правду. С соседкой своей еще потолкуйте. Идет?

- Хорошо, Илья Саввич, - кивнула Даша, и на этом они расстались.

Тетка Настуля уже стояла поодаль и вопросительно поглядывала на Дашу: ждать ее или не ждать? Девушка направилась к ней. Навстречу шли и шли. Много людей было на похоронах Василя: никто, разумеется, не считал его дурным человеком, тем более - нечистым на руку. Разминаясь со встречными, Даша вдруг почувствовала, как кто-то тронул ее за локоть. Обернулась: перед нею стоял Володя. Глаза его были красны, густые черные брови то как бы сливались с меховой шапкой, то отделялись от нее и горестно нависали над лицом.

- Даша, - проговорил он глухо и почему-то умолк, словно не находил больше слов.

Даша стояла, опустив глаза, и тоже не знала, что сказать. Какой-то страх, растерянность сковали ее: невмочь было шевельнуться, поднять веки.

- Здравствуй, - чуть ли не шепотом вымолвил Володя и протянул к ней обе руки.

Даша молча сняла варежку и тоже подала руку. Володя легонько пожал ее дрожащие пальцы, и только после этого она по-настоящему увидела его глаза.

Кто мог бы сказать, что было в этих глазах? Даша прочла в

них огромное горе, смущение, обиду, отчаянье и что-то еще, от чего радостно зашлось сердце. Да, девушке показалось, что среди этих и многих других чувств она уловила нежность, любовь - ту горячую, преданную любовь, какая может быть только у Володи. Она затрепетала от счастья. На устах было какое-то слово, необычное, из тех, видно, слов, что приходили и животворно звучали разве что во сне, что будили память и освежали душу в минуты светлых мечтаний, когда думалось о заветном, о самом дорогом. Но не слетело с уст это слово, запропало куда-то в такой важный, самый решающий момент.

Володя все же собрался что-то сказать, но в это время подошла его заплаканная, обессиленная мать, которую вели под руки какие-то женщины, наверное, из родни. Она тяжелым взглядом посмотрела на Дашу и взяла сына за руку.

Так оборвалась короткая минута свидания. Даша шла домой, повиснув всем телом на руке у Андреихи. Теперь то слово, то самое, что надо было сказать Володе, звучало в ушах, волновало, обжигало душу. Но не пошлешь его вдогонку за Володей, не воротишь того, что прошло, миновало.

"Почему он прямо ничего не сказал? - мучил вопрос. - Он же всегда был смелым, искренним. Неужели носит обиду в душе, неужели хоть на йоту поверил этому подлецу?"

Андреиха, казалось, слышала все, о чем мучительно раздумывала Даша, всем сердцем сочувствовала ей и выказывала это пока только тем, что все крепче и крепче прижимала к себе ее руку.

- Худо тебе? - только и спросила, когда уже подходили к Дашиному дому.

- Худо, ой как худо...

И Андреихе опять пришло в голову то, о чем она думала уже не раз после встреч с Дашей, после долгих и откровенных разговоров. Вот была бы у Даши мать, пришла бы сейчас девушка домой, бросилась бы матери на грудь, выплакалась - и отлегло бы у нее от сердца. А тут... Хоть и всем взяла, и умница, и красавица, а все же - сирота. Отец есть, но отец все-таки не то.

- Ты приходи, Даша, как поужинаешь, ко мне, - горячо попросила Андреиха. - Посидим, потолкуем.

- Хорошо, приду.

XV

И пришла. Но что Андреиха ни делала, как ни старалась ее утешить, успокоить, все равно девушка маялась, не находила себе места.

- А вы как-то сказали, что лучше смолчать, уступить злому человеку дорогу, - расхаживая из угла в угол, в отчаянье говорила

Даша. - Видите теперь, что выходит? Тут и не молчишь, и не сидишь сложа руки, и то вот убийцей могут сделать, душу вынуть, близкого человека отнять. Видите, что выходит?

Она подошла к окну, стала всматриваться в мягкие зимние сумерки. Не давала себе отчета, что наблюдает за улицей, за своим двором, который отсюда отчасти был виден. Не верила, что Володя не придет, не постарается найти ее.

- Теперь-то я вижу, - ответила наконец тетка Настуля, сидя на полатях возле печи, - все как есть вижу. Когда-то Андрей мне то же самое говорил, что и ты.

На улице послышались далекие голоса, и Даша так и прилипла к оконному стеклу. Голоса постепенно приближались, и вскоре уже можно было разобрать: Заткла с мельником поют. Еще спустя минуту-другую Даша увидела их. Тащились в обнимку вкривь да вкось по улице, время от времени поворачивали друг к другу пьяные, донельзя довольные лица и тянули дурными голосами все подряд, что приходило на память да на язык. Один заводил, второй подтягивал. Заткла, то и дело пуская петуха, силился даже взять ноту из какого-то псалма, но мельник при этих его попытках закатывался идиотским смехом и подтягивать не брался.

- С поминок идут, - тяжело вставая с места, сказала Андреиха. - Им все равно, где набраться. На похоронах не были, а поминки без них не обошлись.

Даша слышала, о чем говорила тетка Настуля, разделяла в душе ее возмущение, но не могла отделаться и от мысли, что раз эти пьянчуги уже оторвались от стола, значит, поминки кончились и теперь Володе сподручнее будет вырваться из дому.

- Если б вот этих кто-нибудь прижал, - раздумчиво произнесла Андреиха, уже стоя у окна рядом с Дашей, - то и другим руки бы укоротили.

- Что говорить об этих, - уловила хозяйкину мысль Даша, - если еще даже тех никто не прижал, если они еще берут верх.

- Берут, да не возьмут, - уверенно сказала Андреиха. - Теперь уже не возьмут. Вижу, что тебе сейчас очень трудно, что страдаешь ты, большую обиду несешь в душе, но знаю: правда свое возьмет. Ты так не убивайся. Говорила тебе и еще раз говорю: вот придет Володя - сама с ним потолкую.

- Не придет он, - тихо промолвила Даша, продолжая всматриваться в окно.

- Придет! - стояла на своем Андреиха. - Если не сейчас, то позже. Тебе надо вот этот твой сердечный узелок развязать, тогда и остальное легче пойдет.

- Да как его развяжешь, тетка Настуля?

Даша говорила, не отрываясь от окна, и от ее слов, от разгоряченного дыхания легкие узоры наморози на стекле таяли, все лучше становилась видна улица.

- Вот так и развяжешь, - продолжала Андреиха. - Если Володя не дурак, то он сам скоро увидит, где тут правда. А не увидит - люди укажут. Ты не одна, слава богу.

- Когда такая беда, у каждого может ум за разум зайти, - слегка была задета Андреихиными словами Даша. Отошла от окна и опять принялась ходить из угла в угол.

- Ты завтра никуда не спешишь с утра? - спросила Андреиха как будто только для того, чтобы не молчать, чтобы хоть как-то перебить Дашины мысли.

- А куда мне спешить?

- Ну, ты же теперь то в район, то на поселки - почти каждый день в бегах.

- Завтра только партийное собрание, - не придавая значения разговору, заметила Даша. - Но это - под вечер.

- Так сходим давай с утра к Печкам, - вдруг предложила Андреиха. Управимся пораньше с делами и сходим, если Володя не объявится.

Даша перестала ходить, повернулась к хозяйке удивленным и бледным в электрическом свете лицом. Ее выразительные карие глаза смотрели печально и встревоженно.

- Нет, тетка Настуля, - решительно сказала она. - Больше я не пойду туда. Что бы там ни было, не пойду.

Мимоходом глянула в окно, и ей почудилось, что кто-то прошел мимо Андреихиного палисадника. Прошел и возле их двора остановился. Не разглядела, как был одет этот человек, какого он роста и откуда шел. К сердцу внезапно прилила горячая волна, руки сами собой торопливо стали поправлять на шее шарфик. В следующую секунду, ничего не сказав хозяйке, Даша выскочила из хаты. Не помнила, как отворила теткину калитку, как добежала до своих ворот. Уже со двора, робея, осмотрела улицу, и сердце у нее упало: нигде никого. В хате ярко горел свет: почему-то отец ничем не завесил лампочку, как обычно делал, чтобы не резало глаза. Через окно, если хорошенько прислушаться, доносились приглушенные голоса. "Может, он там?" мелькнула обнадеживающая мысль.

В хате, помимо своих, сидел за столом Платон. Даша сразу заметила, что конюх сегодня в настроении, хотя это бывало с ним не часто. У отца тоже не сходила с лица сдержанная улыбка. Все это не очень-то понравилось Даше, потому что для нее день выдался таким, что хотелось не смеяться, а плакать.

У порога неторопливо, словно нехотя, раздевался Тимоша,

щеки его еще горели от мороза.

- Где ты был? - уже догадываясь, кто проходил мимо Андреихиного палисадника, хмуро спросила Даша.

- Да так, прошелся по улице, - в тон ей ответил брат.

- Никого не видел?

Тимоша покачал головой и пристально посмотрел на сестру. Он сердцем чуял, что тревожит Дашу, ему и самому было нелегко. Если сестра не докажет своей правоты, если ей не помогут люди, то так могут и прижиться черные слова, пущенные про их семью Мокрутом. Отец и Даша, ясное дело, ни в чем не виноваты, а он, Тимоша, - так уж вышло - все-таки толкнул тогда Василя. Пусть даже сгоряча, пусть не знал, что это Василь.

Митрофан между тем выжидательно посматривал на дочь и, когда та подошла ближе, протянул ей письмо.

- На-ка вот почитай, - сказал, не тая радости. - Платон повстречал почту по дороге, принес.

Даша порывисто схватила конверт, но, когда разглядела почерк, сразу взяла себя в руки. Письмо было из города, от Михася. Отца в нем обрадовало то, что Михась обещал в ближайшие дни приехать домой. Не указывалось в письме, на какое время он приезжает, но было сказано, что с семьей, значит, не на день-два. Это обрадовало и Дашу, хотя смущало то, что встреча состоится не в самое лучшее время.

Потом допоздна Даша читала за своей ширмочкой начатую уже давно книгу. Ее кровать стояла у окна, выходящего на улицу, но она дала себе слово больше ни разу не выглянуть, не дразнить себя несбыточными надеждами. Без особой охоты, одним ухом Даша слушала приглушенный разговор старших. Многое не задерживалось в памяти, пролетало мимо ушей, но кое-что не могло не заинтересовать девушку. Платон сегодня, как и обычно, отдавал предпочтение хозяйственным вопросам, однако больше, чем когда-нибудь, говорил о председателе, и тогда они с отцом тихонько, как школьники в классе, хихикали. Иногда и впрямь было смешно. Платон рассказал, например, что Шулов в своем кабинете понабивал в стену гвоздей и развесил там хомут, шлею, уздечку и вожжи от собственного выезда. Это он для того, чтобы все было под рукой и чтобы никто не поменялся с ним хомутами. А что в бригадах нет упряжи, что колхозники ездят на веревочных гужах, его не волнует.

Отец удивлялся, осуждал, видно, размахивал даже руками от возмущения, а Платон между тем продолжал:

- Кабана давеча отвез домой, хочет, стало быть, угодить своей половине. Говорят, злющая и до чужого добра очень уж ласая. Не помню, кто это мне рассказывал: чуть из хаты толстопузого не

выгнала, когда прослышала, что уже недолго ходить ему в председателях. Почему, говорит, только один дом построил? Почему не навозил леса шурину? У него тоже хата старая.

Тут и Даша улыбнулась. Ей было приятно, что старики так смело берутся за председателя колхоза, так его осмеивают. Чувствовалось, что при нужде они и на сходе могли бы выступить. А может, и еще что-нибудь у них в голове, может, они с Михасем связывают какие-то надежды? Отец уже давно об этом поговаривает...

Платон к полуночи ушел, ему надо было заступать на дежурство, отец выключил свет, лег и тихонько засопел, а Даша, пожалуй, до третьих петухов не спала. Ночь казалась невыносимо длинной, мучительной. Хотелось, чтобы поскорее рассвело - рассвет мог принести новые надежды. Не пришел вечером Володя. Ну как его за это винить? Только возвратился с похорон, собрались люди на поминки. А там и с матерью надо поговорить, утешить ее, и по дому что-то сделать. Его же ненадолго отпустили. Вот утром ему, конечно, легче будет вырваться.

Однако настало и утро, а Володи все не было. Даша ждала его до второй половины дня, а потом пришел из школы Тимошка и сказал, что сам видел, как Володя с небольшим чемоданчиком в руках садился в кабину эмтээсовского грузовика, шедшего на станцию.

Сама не своя брела под вечер Даша в Червонные Маки на партийное собрание. Напротив погоста задержалась. Минувшей ночью и весь этот день снега не было, даже следы вчерашние не запорошило. Между двумя березками желтела могилка Василя - издали она казалась маленькой, почти детской. Даша медленно прошла еще несколько шагов по дороге. Вот здесь, на этом месте, вчера она встретила Володю. Не нашла в себе сил сказать ему хоть слово, а сегодня от этого сердце ноет. Возможно, он и подумал, что виновата, раз молчит...

XVI

Собрание не затянулось, хотя вопросы решались и непростые. Этим коммунисты были обязаны Илье Саввичу. Секретарь территориальной парторганизации не ленился сходить к члену партии или кандидату и за пять-шесть километров, если была нужда посоветоваться, что-то обсудить. Поэтому на собраниях не было лишней говорильни и путаницы.

Даша вышла из школы последней. На улице было темно, хотя почти во всех хатах еще горели огни. Подумалось, что жутковато будет идти ночью одной, но в это время на школьном крыльце появился Илья Саввич.

- Это я пальто заходил накинуть, - тоном оправдания

заговорил он. Разрешите пройтись с вами? Во-первых, вам не так страшно будет, а во-вторых, есть у меня еще один разговор.

- Конечно, Илья Саввич, - тихо ответила Даша.

- Скажите, - сразу начал директор, - от Михася вы не получали этими днями письма?

- Вчера было. - Даша видела, что вопрос задан неспроста.

- И что он пишет? Извините, пожалуйста, за мою нескромность.

- Пишет, что вот-вот приедет, - охотно призналась Даша. - Только не понять, в отпуск или у него командировка в наш район.

- Ни в отпуск, ни в командировку, - отверг обе ее догадки Илья Саввич. - Я тоже получил от Михася письмо. Мы с ним как-никак давние друзья. Работать здесь будет Михась.

- Как это? - остановилась Даша. - Здесь, в нашем колхозе?

- Думаю, что в вашем, - подтвердил директор. - И в райкоме партии того же мнения. Мы вместе с секретарем и писали Михасю.

"Вот почему отец с Платоном так радовались вчера, - сообразила Даша. Неужели они что-то знали? А может, у них, у стариков, нюх такой особый?"

Для самой же Даши новость была как гром с ясного неба. Правда, она давно знала, что брат, агроном, тяготится работой в министерстве, что его тянет к земле, к простым людям. С другой стороны, она видела и не стеснялась об этом говорить, что Шулов - никакой не председатель, хотя человек и неплохой - спокойный, доброжелательный, что его давно пора спровадить туда, откуда приехал, иначе хозяйство дойдет до ручки. Все это так, но она никогда не думала, чтобы брат согласился стать в Добросельцах председателем. И чему только отец обрадовался? Конечно, хорошо, если придет наконец толковый председатель да поможет людям по-настоящему стать на ноги. Еще отраднее было бы для отца, если бы этим человеком оказался его сын. И для сестры, разумеется. Но все же там министерство, город, а здесь всего-навсего колхоз.

- Может, в МТС его присылают? - несмело спросила Даша. - Там, я слышала, нужен агроном.

Ей неловко было высказывать свои мысли вслух, признаваться, что чего-то не понимает. Отец тут во всем разобрался лучше, чем она.

- Он сам дал согласие поехать в свой колхоз, - словно читая у Даши в душе, сказал Илья Саввич. - Поверьте, никто на него не давил и никто не выживал из министерства. Земля - его стихия, как моя - школа. Здесь я его очень хорошо понимаю. Так что не удивляйтесь, Даша, - быть Михасю в Добросельцах

председателем. Знаю, что вам не с руки, поэтому сам поговорю с колхозниками, надеюсь, они не пойдут против своего земляка...

Тут Илья Саввич надолго замолчал. Было видно, что разговор еще не окончен, что он прикидывает, как повести его дальше, как убедительнее высказать то, что у него на уме. Даша ждала, сдерживая волнение.

- Вы, должно быть, заметили даже по сегодняшнему собранию, - негромко заговорил директор, - что коммунисты вас уважают, поддержали в этом нелегком, хотя и грубо сработанном деле и даже - заметьте, сверх повестки в члены партии приняли. Причем - единогласно. Радуюсь этому вместе с вами и от души поздравляю.

- Спасибо, - через силу вымолвила Даша.

- Уважают вас за ваши дела, за принципиальность. И вот, не знаю, как остальные депутаты, а мы, коммунисты, еще перед собранием посоветовались и решили предложить сессии вашу кандидатуру на пост председателя сельсовета.

- Что вы, Илья Саввич! - почти выкрикнула Даша. - Что вы такое говорите! Я не справлюсь, да и не выберут меня. Тут и думать нечего. Я возьму самоотвод или вообще на сессию не приду!

- Я с тем и раскрыл вам наши намерения, - продолжал излагать свои доводы Илья Саввич, - чтобы вы имели возможность все это хорошенько обдумать и подготовиться. Когда вдумаетесь, сами увидите, что это наилучший вариант. И отказываться вам никак нельзя.

- Да яснее же ясного, - не отступала Даша, - что это вовсе не для меня. Во-первых, смотрите, что выходит: Михась - председатель колхоза, а я председатель сельсовета. В одной хате два председателя. Разве это возможно? И потом еще: все время я выступала против Мокрута, критиковала его. Что теперь люди скажут? Что я его места добивалась. Нет, Илья Саввич! Мне приятно, что вы так хорошо думаете обо мне, сегодня у меня такой день, что никогда не забыть: и горя столько, и радости. Но предложения этого не вносите. Еще, чего доброго, и Мокрут останется. У него есть поддержка в районе.

- Попытаюсь ответить по пунктам, - сдержанно улыбнулся Илья Саввич. - В сельсовете не один колхоз, а целых четыре. Кроме того, как известно, имеются еще школа, магазин, медпункт. Так что брату и сестре не придется все время ходить по одной и той же тропке. Что же касается избытка счастья в одной семье, то пусть у бывшего бедняка и участника гражданской войны будет и два председателя под одной крышей. Ничего плохого в этом не вижу. Лишь бы людям на пользу. Далее. Не

могу принять вашу мысль и относительно Мокрутова кресла. Умные люди никогда не скажут, что вы критиковали Мокрута, чтобы занять его место. Они скорее скажут, что вы боролись не против Мокрута как человека, а против его недостатков, иначе говоря - боролись за Мокрута. Он еще молод, у него жизнь впереди. Заметили, что уже и сегодня он не очень-то лез на рожон? А председателем его оставлять нельзя. Об этом знают все депутаты, и в районе теперь иное мнение. Тот же Павел Павлович, до чего уж спокойный, уравновешенный человек, и то вскочил, даже мне поддал жару.

За разговором и не заметили, как вышли на добросельский большак и даже изрядно отшагали по нему. Наконец Илья Саввич остановился и протянул Даше руку.

- Мне очень неловко, - сказал, извиняясь, - что оставляю вас одну, надо бы проводить до самых Добросельцев. Но я постою здесь, пока вы хоть до мельниц дойдете, а там уже близко.

По голосу и по несколько растерянным жестам можно было заметить, что директор действительно испытывает неловкость.

- Я добегу, - с жаром заверила Даша. - Разве мне впервой? Вы и так уже во-он сколько со мною прошли. Спасибо вам, огромное спасибо. У вас и без меня много всяких дел.

- Да какие там дела, - не то возразил, не то согласился Илья Саввич. Просто сегодня мне еще непременно нужно написать письмо одному своему ученику. Бывшему, правда. Завтра авиапочтой отошлю.

Директор смотрел на Дашу с загадочной полуулыбкой, а она заморгала сперва недоуменно и растерянно, потом, догадавшись, о ком идет речь, просияла и схватила директора за руку:

- Как я вам благодарна, Илья Саввич, если б вы только знали!

Продолжая путь одна, Даша не могла собраться с мыслями. Надо же: столько впечатлений и всё такие важные - и радостные и не очень. Ноги невольно сбивались на бег, но желания поскорее войти в Добросельцы не было. Хоть и жутковато одной, но пусть бы дорога длилась и длилась, чтобы дольше оставаться с собою наедине. Вот почему, когда увидела, что от бескрылых мельниц отделился человек и двинулся ей наперерез, то, прежде чем подумать о чем-нибудь другом, она пожалела, что надо расставаться с такими сладкими мечтами. Человек вышел на дорогу и остановился. Даша тоже застыла на месте, стараясь угадать в темноте, кто бы это мог быть.

- Не бойся, Даша, - услышала она голос и узнала Мокрута. - Я просто ждал тебя здесь, чтобы вместе идти домой.

У Даши на секунду похолодело под сердцем, но она не выдала себя, подошла. Вспомнилось, как поглядывал на нее

Мокрут во время партийного собрания. Глаза мутные, словно застывшие, и ничего в них не прочесть. Можно было подумать, что он желает ей самого худшего, даже смерти, а можно и иначе: что ничего плохого не желает.

Вот и сейчас Даша посмотрела Мокруту в глаза, и испуг ее тотчас прошел. Она не столько увидела, сколько почувствовала, что в глазах у него лишь тоска, мука и ни малейшей злости. Он сутулился, ежился в своей кожанке и руки сплел одну с другой в рукавах. Видно было, что он не только переживает, может быть, даже в какой-то мере раскаивается, но еще и основательно промерз, потому что с собрания ушел давно.

Двинулись дальше, не сказав друг другу больше ни слова: Даша по одной машинной колее, Мокрут - по другой. Он только выпростал руки из рукавов, немного помахал ими и сунул в глубокие, но, видно, настывшие карманы.

- Озяб ты? - немного погодя спросила Даша, не в силах больше молчать.

Мокрут повел плечами, слегка распрямился, но не сказал ничего, словно сочувственные Дашины слова к нему не имели отношения.

- И охота тебе было сидеть под этими мельницами, - скорее с упреком, чем с насмешкой продолжала Даша. - Шел бы домой, в тепло.

- Некуда мне идти, - глубоко вздохнул Мокрут.

Шаг его сделался неровным и тяжелым, словно подошвы сапог липли к колее. Он шел в молчании еще минуту-другую, потом немного отвернул с Дашиной стороны свой спасительный воротник и заговорил, причем тоски в голосе стало еще больше, концы фраз проглатывались:

- Меня и раньше домой не особо тянуло, а теперь... Если б не такая холодина, то и ночевал бы под мельницей. Хорошо было когда-то в партизанах: залезешь в шалаш, укроешься...

Даша молчала, потому что ни спорить с Мокрутом, ни сочувствовать ему у нее не было ни малейшего желания. Только все думала, почему он дожидался ее: хотел человек поговорить, излить душу, или, может, у него худое на уме, может, о мести помышляет. Страха, однако, не было, не верилось, что Лявон может причинить ей зло.

- Значит, мы сегодня именинники, - снова заговорил Мокрут. - Тебя из кандидатов и меня из кандидатов. Здорово! Только тебя в члены, а меня... Сколько лет мне довелось походить в кандидатах! И вот... Ну и зла ты на меня была сегодня, правда? Все ополчились, как будто я всем врагом стал. Особенно директору.

- Никто на тебя не ополчался, - спокойно заметила Даша. - Говорили то, что думали.

- Всё припомнили, - без злости сказал Мокрут и снова глубоко втянул голову в воротник, умолк.

Даше показалось, что он пошел немного бодрее, и это принесло облегчение. Скорей бы дойти, а там уж как хочет. Захочет выговориться найдет охотников послушать, а потянет его на молчаливое одиночество сыщется место и для этого. Посмотрела в сторону Добросельцев и обрадовалась: сквозь жидкую сетку тумана пробивался свет фонаря, снова горевшего у околицы. Значит, уже недалеко. Но вышло так, что и Мокрут, пожалуй, в то же самое время разглядел фонарь и не прибавил шагу, как ждала Даша, а, наоборот, стал заплетать ноги. Она пошла быстрее, надеясь расшевелить и его, но Мокрут, хрипло откашлявшись, попросил:

- Не беги так, Даша. Еще ведь не поздно.

И, поравнявшись с нею, вдруг завел речь о том, что она должна поговорить с ним, поговорить, забыв про все, что произошло в последнее время, словом, так, как они не раз говорили за минувшие годы.

- Мне, может, и надо бы обижаться на тебя, - продолжал он тихим дрожащим голосом, - но сегодня - не могу. Не знаю, как будет дальше, но пока у меня нет обиды ни на тебя, ни на других. Вот сидел под мельницей, все вспомнил, обо всем передумал. Много правды было высказано на собрании. Однобоко я как-то жил, и глаза мои смотрели больше в одну сторону, в свою сторону. Были люди вокруг меня, а я их не замечал и не знал. И тебя не знал. Ты для меня была всего-навсего хорошенькой девчонкой, как Василь Печка покладистым и безответным малым. Замечал я, бывало, только тех, кто, хотел он этого или не хотел, становился у меня на пути. С ними я легко разделывался. Говорю - легко, потому что это мне действительно удавалось.

- До поры кувшин... - начала было Даша, но Мокрут не дал ей договорить.

- Вот когда-то и моя мать так же... Я еще пацаном был. "Почему ты все сам да сам? Так век не проживешь". А я гордился тем, что "сам". Я один был у матери, отца, ты же знаешь, давно нет, помер. Я его и помню-то плохо. Мать, известное дело, не слушал, а теперь мне уже в который раз вспоминаются те ее слова. Эх, мама... В последний раз видел ее в конце сорок третьего года. Пришел ночью домой из отряда. Вот эта кожанка была на мне, тогда еще совсем новая, добротные хромовые сапоги, кубанка с красной лентой. Сел за стол и нечаянно задремал. Мать при лампе расстегнула мне воротник да как

заплачет! Я испугался, вскочил. А это рубашка у меня под кожанкой и гимнастеркой была так заношена, так давно не стирана, что мать в ужас пришла. Она к сундуку, чтобы достать мне чистую, а в это время на улице какой-то топот. Я шмыгнул в сени и уже больше не вернулся, немного погодя пробрался в лес. А назавтра мать, ты знаешь, положила в узелок белье, еще там кое-что и поздним вечером пошла в лес искать кого-нибудь из наших, чтобы передали мне все это. Наткнулась на засаду, бросилась бежать, ну и... Я едва пережил, когда узнал. Ну какой черт понес меня домой? И сейчас этот груз у меня на душе, особенно сегодня. Тебе одной скажу, что и заходил я тогда не столько, чтобы проведать маму, помочь ей чем-нибудь, одинокой, сколько показать, каким я стал бравым. Теперь простить себе этого не могу...

Мокрут замолчал, тяжело, взволнованно засопел, но Даша не воспользовалась паузой, чтобы что-нибудь сказать. Она чувствовала, что Мокрут говорил искренне, но настолько была потрясена его рассказом, что просто растерялась. Казалось, никогда прежде не слышала от него таких слов, а может, и слышала, да всерьез не принимала.

Снова Мокрут заговорил уже у околицы:

- Перед тобою я тоже виноват. Много тебе зла причинил этой дурацкой выдумкой насчет Василя. Я, конечно, знал, что ты здесь ни при чем, да вот же... Хочешь, я напишу обо всем Володе? Чистую правду напишу.

- Не надо, - тихо ответила Даша, - без тебя напишут.

- Ну, тогда бывай здорова, - сухо сказал Мокрут, останавливаясь напротив Платоновой хаты и протягивая Даше руку. - Спасибо, что прошлась со мной, не сбежала.

- А ты-то куда? - спросила Даша, заметив, что он не собирается идти домой.

- А во-о-н, видишь? - показал Мокрут на домик мельника. - Там еще свет горит. Пойду туда...

XVII

Сессия сельсовета должна была состояться вскоре после партийного собрания, однако по разным непредвиденным причинам все откладывалась и откладывалась. Эти причины чаще всего были связаны с Мокрутом, которому хотелось затянуть дело. То он вдруг исчезал на несколько дней, а в сельсовете просил сказать, что уезжает зачем-то в город, то прикидывался больным. Были, видно, у него какие-то свои расчеты. Возможно, жила надежда, что все перетрется, перемелется и забудется, а может быть, велась подготовка, чтобы вообще добиться оправдания.

Наконец Павел Павлович как представитель райисполкома твердо определил день. Поскольку ни в Добросельцах, ни в Червонных Маках клуба еще не было, сессия проходила в школе, в том же классе, где не так давно было партсобрание. Тогда, с партийного собрания, Лявон Мокрут ушел самым первым, теперь же, с сессии, - самым последним. Если бы не пришла уборщица и не стала звенеть ключами, то бывший председатель, видно, и ночевал бы в школе.

Улица уже была пустынна, когда Мокрут, сгорбившись, пробирался вдоль заборов. Он прикидывал, куда бы это пойти, чтобы побыть одному, так как ни встречаться с кем бы то ни было, ни разговаривать ему не хотелось. Вспомнил, что можно еще зайти в сельсовет, что формально он еще имеет такое право. Опустил руку в карман кожанки, нащупал там два связанных бечевкой ключа. Уж такими холодными и скользкими показались ему эти ключи! Взять бы их да выбросить в снег: пускай те, кому это нужно, взламывают кабинет. Ключи тонко, как-то даже скорбно дзынькнули, когда Мокрут доставал их из кармана. Невольно пришел на память звон ключей у уборщицы. Как посмотрела эта женщина на него, бывшего председателя сельсовета! Сразу было видно, что, если бы он не встал, не поспешил одеться, она просто выгнала бы его из класса.

Замок на двери сельсовета был покрыт тонкой обжигающей изморозью. Мокрут придерживал его теплой рукою, и, пока отмыкал, пальцы пощипывало хотя и предвесенним, но еще сердитым морозцем. Дверь отозвалась каким-то чужим и неприветливым скрипом. Еще один замок и еще одна дверь. Из кабинета дохнуло теплом и привычной горечью - недавно накурено. Не зажигая лампы, Мокрут нашарил свой гвоздик на стене, разделся и повесил на него кожанку, потом прошел к поповскому креслу. Половицы проскрипели так громко, что он даже испугался. Сколько довелось посидеть в этом кресле и даже поспать! Уснуть бы и сейчас, забыть обо всем.

Мокрут всем своим расслабленным телом повисает на подлокотниках, откидывает голову на высокую спинку. До чего же хорошо было когда-то вот так отдыхать, а то и беседовать с людьми.

За окном мелькает в белых облачках такая же белая луна, отчего по столу все время пробегают короткие тени. Рябит в глазах от этих теней, а еще больше - от разных бумаг, квитанций и бланков, вразброс валяющихся на столе. В сельсовете теперь нет секретаря, а сам Мокрут и прежде не очень-то заботился о порядке в канцелярских делах. Теперь же и подавно. Поблескивает перед опущенными вниз глазами закругленный

край стола. Стоит протянуть с подлокотника руку, и указательный палец ляжет на этот край. Незначительное движение - и послышится привычный стук. Сколько людей с обидой и неприязнью смотрели на этот палец, болезненно морщились, слыша этот стук!

Сон не приходил, хотя Мокрут и не собирался вставать из поповского кресла. В голове шумело от шальной путаницы мыслей, от самых противоречивых воспоминаний. Бывало, на сессию за уши человека не притащишь, а тут, смотри-ка, почти полная школа людей. И депутаты все до единого, и учителя. Семен Козырек с дальнего поселка и то пришел, даже согласно взмахивал рукой, когда звонкий Дашин голос разносился по всем углам. Вспомнилось, что и Аксинья, мать Василя и Володи, так уж внимательно слушала Дашино выступление, кивала, а потом, когда Даша возвращалась на свое место, поймала ее за рукав и что-то долго шептала на ухо, ласково улыбалась. А ведь еще недавно верила ему, Мокруту.

После Дашиного выступления захотелось еще раз взять слово. Слово-то дали, а слушать не слушали. Старый Платон стал в это время что-то говорить Митрофану, тот без удержу смеялся и весело посматривал на своего старшего сына. Михась только что приехал и уже тут как тут. И кто их звал на сессию?

...Перед глазами - поднятые людские руки. Много рук. Павел Павлович сказал, чтобы голосовали только депутаты, а руки подняли все. Трудно было удержаться, не посмотреть. Андреиха сидела далеко, так аж встала, чтобы все видели ее руку.

- Добросельский! - обратился Павел Павлович к Ивану. - Сосчитай голоса!

Тот встал, вытянулся на здоровой ноге, чтобы лучше видеть.

- Единогласно! - спустя какую-нибудь минуту объявил он. В голосе твердость, даже сила, какой прежде Мокрут не замечал.

- Да все проголосовали, не надо было и считать! - подтвердил с задних рядов Тихоня.

Ишь ты, и он высказался!

Все это злило и возмущало Мокрута. Никогда раньше он и значения не придавал какому-то там голосованию. Сам всегда поднимал руку без всяких мыслей в голове и на другие руки посматривал с усмешкой. А тут проголосовали - и он больше не председатель.

Правая рука как-то сама по себе скользнула по подлокотнику вперед, но пальцы не дотянулись до стола, чтобы постучать, а вяло, безжизненно упали на бедро. Шевельнувшись, сразу нащупали карман, в котором лежал круглый футлярчик с печатью. Под сердцем защемило. Завтра он сдаст эту печать, а как

жить без нее? Перед глазами вдруг один за другим стали возникать соседи-добросельчане. Сколько их! С самого утра они возят на поле навоз, и руки у них в это время грязные и неприятно пахнут. Андреиха в подоле носит домой маленьких поросят, там их обсушивает, обогревает, поит молоком. А Даша ночует на ферме во время отелов и в такие дни ходит с красными от недосыпания глазами. И все это люди, и счастья у них, пожалуй, побольше, чем у него самого.

Мокрут резко оттолкнулся от спинки кресла, встал и нервно заходил по кабинету. Ходил с полчаса, половицы скрипели, словно крошились у него под ногами. Давно уже их не протирали, не окатывали водой. Потом бывший председатель подошел к стене, рванул свою кожанку так, что то ли гвоздь согнулся, то ли вешалка порвалась, наспех оделся и подался прочь из сельсовета.

Три дня его никто не видел, никто не знал, где он коротает или пускает пьяным дымом свое время. На четвертый день поздно вечером Мокрут появился на добросельской улице. Но и тогда его никто не заметил: детвора уже спала, а все взрослые были на колхозном сходе. Шел Мокрут не спеша и смотрел все время прямо себе под ноги. Он и рад был, что никто не попадался навстречу.

У своего двора остановился, поднял голову. Мягкий ветер с юга обдал его шею и слегка подавшийся за эти дни, утративший розовость подбородок. Снова втянул голову в воротник - ветер показался ему очень холодным. В окнах был свет. Это обрадовало Мокрута: не надо стучаться, будить жену. Осторожно, без скрипа открыл калитку, ступил на скользкий от оттепели двор. Дверь в сени тоже отворил тихонько, перенес ногу через порог хаты и больше не мог сделать ни шага. С кровати, укрытая шерстяным, в полосах одеялом, с укором и все же радостно смотрела на него жена, а рядом, на табуреточке, сидела Андреиха и пеленала младенца.

Лявон снял шапку и молча комкал ее в руках. Потом медленно повернулся и вышел. Со двора не уходил, а сел под окном на завалинке и обхватил голову руками. С крыши падали крупные тяжелые капли и звучно ударялись о кожанку. С собрания шли люди, громко переговаривались, смеялись.

- Два председателя в хате! - с нажимом произнес кто-то.

- А я могу предложить еще и третьего, ежели надо!

Это, конечно, голос Митрофана, на Тимошу намекает.

Напротив Мокрутова двора кто-то задержался.

- Неужто его еще нет? - послышалось из-за забора. - Может, не знает человек? Это ж хорошо, что Андреиха, а то бы...

Лявон не мог посмотреть на улицу, не мог выпутать пальцы

из отросших за последнее время волос. Еще немного погодя брякнула щеколда в сенях и возле него остановилась Андреиха.

- Идите, сосед, в хату, - сказала требовательно. - Сын зовет.

1958